МАРК ЗАИКИН

цикл «Черта» · книга первая



это Сева

КНИГА ПРАВОК · ТОМ 39

№	дата	исходный	перенос	поручитель
114	07.09	Арсеньев И.	Арсеньев В.	Ковригина
115	09.09	Сабуров В.	Сабуров К.	Ведерников
116	11.09	Летов Б.	Летова С.	Лапина
117	14.09	Белецкий А.	Ростова М.	Яцев Г.
118	19.09	Арсеньев И.	Арсеньев В.	Ковригина
119	22.09	Сабуров В.	Сабуров Д.	Ведерников

она спала!

по согласованию, устно, 04:00

К. Ростов

РЕЕСТР П Б-4

СЕГОДНЯ

ЧУЖАЯ ВИНА

Каждый несёт своё.

Марк Заикин

Чужая вина

«Автор»
2026

Заикин М.

Чужая вина / М. Заикин — «Автор», 2026

Восемь лет Глеб Ярцев отвечает за чужие проступки.В Республике, где сорок лет назад кончилась гражданская война, у каждого ребёнка с Верха есть поручитель с Низа. Сын советника разбил окно, а черту на запястье ставят ровеснику с другого берега. Лодка, драка, поджог оранжереи — всё ляжет на чужую руку.У Глеба двадцать три черты, и ни одна не его. Последняя, красная, стоила ему года в известковом карьере: дочь Главного регистратора на машине сбила его лучшего друга.Теперь его выпускают досрочно. На юбилее Согласия он должен перед городом пожать ей руку и получить мечту всего Низа: гражданство, квартиру на Верху и свободу для младшей сестры, которой через два месяца идти на Отбор. До церемонии он девять недель проживёт в доме девушки, которую ненавидит.Мира Ростова год носит длинные рукава. Ту ночь она не помнит. Ей сказали, что за рулём была она.В подвале Биржи хранится книга вне всех реестров. Когда Мира и Глеб её откроют, каждому придётся решить, за что он готов ответить сам.

© Заикин М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Страница 6
Часть первая. Взыскание 9
Глава 1. Белая Гора 9
Глава 2. Чистый лист 17
Глава 3. Служебный вход 24
Глава 4. Двадцать три 31
Глава 5. Оглашение 38
Глава 6. Низовка 46
Г 54
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Марк Заикин
Чужая вина

Тем, за кого всегда отвечал кто-то другой. И тем, кто отвечал.

* * *

Подопечный не несёт взыскания. Всякое взыскание, причитающееся подопечному, несёт его поручитель.

Согласие, статья девятая

Каждый несёт своё.

Надпись на стене в Затоне

Пролог. Страница

Устье, Затон. 14 сентября 39-го года Согласия, без двадцати два ночи

Страница лежала в левом ботинке, под стелькой, и Сева чувствовал её при каждом шаге. Бумага была плотная, казённая, с водяным знаком, и за полчаса бега она промокла от пота и прилипла к подошве. Он боялся, что она порвётся на сгибе. Потом решил, что бояться надо другого.

Машина шла за ним от самого трамвайного кольца.

Сначала он думал, что это совпадение. Чёрный «Гранд» с верхними номерами медленно катился по Кирпичной, без фар, как катятся по Низу все верхние машины после полуночи: к реке, к складам, к старой пристани, где летом жгли костры. Низовка. Сентябрь был тёплый, и они переезжали Мост каждую пятницу, мальчики в светлых куртках и девочки с голыми руками, с бутылками, с хохотом, который было слышно за три квартала. Сева видел их сто раз. Их видели все. Правило было простое: не стой на дороге, не смотри в глаза и не отвечай. Утром они уедут, а в субботу на Площади Оглашений кому-то из меченых нарисуют новую черту за нарушение комендантского часа. Ничего личного.

Он свернул в проулок у бани, и машина свернула за ним.

Тогда он побежал.

Фары загорелись разом, белые, длинные, и тень Севы выросла перед ним до самого конца проулка, тонкая, с длинными руками. Сзади кто-то засвистел. Мотор рыкнул и сбавил, рыкнул и сбавил, будто машина играла с ним, как кошка играет с тем, что уже поймала. Девчачий голос крикнул что-то весёлое, и мальчишеский ответил: «Гони его к воде!» Сева узнал интонацию раньше слов. Так кричат на собак.

Проулок кончился забором. Сева перемахнул через него, не почувствовав рук, упал на кучу битого кирпича, ободрал колено и побежал дальше, через пустырь, где раньше стояла красильня. Машина обогнула пустырь по улице и снова оказалась впереди, слева, с фарами, наставленными ему в лицо. Он шарахнулся вправо, к железнодорожной насыпи. Под ногами хрустел шлак.

Можно было остановиться. Он думал об этом совершенно отчётливо, тем отдельным спокойным краем головы, который у него всегда работал, даже на контрольных по черчению, когда остальная голова паниковала. Остановиться, поднять руки, дать им посмеяться. Ну толкнут. Ну снимут ботинки и закинут в реку, это у них называлось «искупать низового». Ну разобьют губу. За всё, что они сделают, всё равно ответит кто-то другой, какой-нибудь мальчик или девочка из Лицея, такой же, как Глеб, и ответит в субботу, при всех, под машинкой Ефима Лукича. Сами они даже не узнают, как его зовут.

Остановиться было бы правильно. Если бы не ботинок.

Если они снимут ботинок, они найдут страницу. Не поймут, что это такое, скорее всего. Посмеются, скомкают, выбросят. А скорее всего не выбросят, потому что на ней печать Реестра, а дети с Верха знают эту печать лучше, чем буквы, и кто-нибудь из них отнесёт её папе, просто так, как приносят найденную на улице монету. И тогда утром придут к маме. Мама уже месяц мыла полы в подвале Биржи, в той части, где не было окон, и это она вынесла страницу в рукаве халата, а Сева должен был отдать её Туме до двух. Он опаздывал.

Он полез на насыпь.

Наверху было светлее. Отсюда было видно весь Затон: тёмные крыши, трубы Суконвальни, редкие окна, где не спали, а дальше реку, широкую, чёрную, и на другом её берегу Верх, весь в огнях, ярусами, до самого собора на горе. Между ними висел Мост Согласия, освещённый от края до края, с прожекторами на КПП и большим белым экраном посередине, на котором по ночам крутили одну и ту же надпись: *СОРОК ЛЕТ МИРА. ДО ЮБИЛЕЯ ОСТАЛСЯ*

ОДИН ГОД. Буквы сменялись каждые десять секунд. Сева смотрел на них, пока переводил дыхание, и думал, что Глеб бы сейчас сказал что-нибудь про пролёты. Глеб всегда смотрел на Мост и говорил про пролёты, про нагрузку, про то, что средний пролёт сорок лет назад залатали неправильно и что однажды по нему пройдёт слишком много людей сразу.

Машина остановилась внизу, у переезда. Хлопнули двери.

Их было трое, кажется. Или четверо. Один остался у машины. Двое полезли по насыпи, неловко, оскальзываясь на шлаке, и смеялись, и кто-то из них уронил бутылку, и она покатилась вниз, звеня.

— Эй! — крикнул тот, что был впереди. Голос был молодой, лёгкий, такой, каким говорят люди, которым никогда в жизни не было страшно. — Эй, низовой! Ты чего бегаешь? Мы ж поиграть!

Сева побежал по шпалам в сторону реки.

Здесь он знал каждый метр. Пути шли к старому разводному мосту, который не работал с самой Смуты, и обрывались у воды, на высоте в два этажа. Под обрывом была отмель, а сбоку лестница, ржавая, на которую мальчишки Затона лазили курить. Если добраться до лестницы, можно спуститься на отмель, а с отмели берегом к Пескам, к бане. Туда машина не пройдёт.

Он почти добрался.

Свет ударил снизу, сбоку, с той стороны, где Сева его не ждал. Машина не стала ждать своих у переезда. Она проехала по грунтовке вдоль насыпи, по бывшей подъездной дороге к мосту, и теперь стояла прямо у начала лестницы, мотором к реке, и фары били ему в глаза. Двери были закрыты. Сквозь лобовое стекло ничего не было видно, кроме двух белых кругов, а над ними, выше, внутренний свет в салоне, жёлтый, тусклый. Кто-то сидел за рулём. Кто-то ещё был на заднем сиденье: Сева увидел голову, прислонённую к стеклу, светлые волосы, расплющенные о стекло. Кто-то спал. Посреди всего этого кто-то спал.

Сзади уже скрипели шпалы.

Сева стоял на краю. Слева фары, сзади двое, справа пустота над рекой, впереди шпалы, обрывающиеся в никуда. Он подумал о маме и сразу же, без перехода, о Глебе, который сидит сейчас на Кирпичной у себя на кухне и чертит при свечке свои пролёты, потому что в Затоне опять отключили свет. Глеб бы что-нибудь придумал. Глеб бы посмотрел на всё это и сказал: «Сев, ну ты и встрял», и они бы вместе нашли выход. У Глеба было двадцать две черты, и ни одна не была его, и ему было всё равно, потому что он считал, что однажды построит мост, по которому будут ходить без пропусков, и что вот это действительно его.

Двадцать две черты. Сева вдруг понял, что если сейчас с ним что-нибудь случится, то первым об этом узнает тот, кто ответит. Тот, кто стоит на Площади в субботу. Кто-то вроде Глеба.

Он полез на лестницу.

Мотор взревел. Машина рванула вперёд, на пятачок у начала лестницы, и в последний момент, Сева видел это, водитель крутанул руль, как будто хотел только напугать, проехать в метре, обдать светом и шумом и затормозить, чтобы потом хохотать над тем, как низовой свалился со страху. Так у них было принято. Так было весело. Но шлак был сухой и рассыпчатый, и задние колёса пошли юзом, и машина развернулась боком, и её крыло ударило в лестницу ровно туда, где была его нога.

Лестница вздрогнула и пошла от стены. Сева повис на одной руке. Ржавая перекладина хрустнула под ладонью.

Последнее, что он помнил очень ясно, был звук, тише мотора и тише крика наверху: в ботинке, под стелькой, хрустнула сложенная вчетверо страница.

Потом была вода.

* * *

Девушка на заднем сиденье проснулась от удара и не поняла, что случилось. Она ударилась виском о стекло, и у неё зазвенело в ушах. Впереди кто-то ругался тонким чужим голосом. Двери хлопали. Фары освещали пустую лестницу, вывернутую от стены, как вывернутый палец.

— Что? — спросила она. Язык был тяжёлый, ватный. — Мы где?

— Спи, — сказали ей. — Ничего. Спи, Мир.

Она хотела спросить ещё что-то, но не смогла вспомнить что. Шампанское было сладкое, она выпила слишком много, и её укачало ещё на Мосту. Она закрыла глаза. Сквозь веки было красно от фар.

Ей приснилось, что кто-то зовёт её по имени из-под воды.

* * *

Через неделю, двадцать первого сентября, в субботу, на Площади Оглашений в Затоне секретарь Реестра прочитал протокол.

— Подопечная: Ростова Мирослава Константиновна, шестнадцать лет. Проступок: наезд на пешехода со смертельным исходом, управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение комендантского часа. Потерпевший: Кравец Всеволод Ильич, шестнадцать лет, Затон. Поручитель: Ярцев Глеб Николаевич, шестнадцать лет, Кирпичная. Взыскание: черта красная. Карьер «Белая Гора», два года.

Площадь была полная. В Затоне никто не пропускал субботу, и в эту субботу пришли ещё и с Песков, и с Сортировки, потому что Севу знали все. Его мать стояла в первом ряду, в чёрном платке, без слёз, белая, как известь, и держала обеими руками сумку, как будто в сумке было что-то, что нельзя уронить.

Поручитель поднялся на помост сам, без конвоя. Высокий мальчик, худой, с бледным лицом и тёмными волосами, которые давно было пора стричь. Он закатал левый рукав, не дожидаясь приказа. Над запястьем у него была двадцать одна черта, ровным столбиком, чёрные, и одна красная, старая, выцветшая до цвета ржавчины.

Ефим Лукич взял его за руку, как берут за руку внука, и включил машинку. Машинка зажужжала.

Мальчик смотрел поверх голов, через реку, на Верх. Губы у него были сжаты. Он не моргал.

Секретарь Реестра, торопясь закончить до дождя, прочитал положенную формулу:

— Поручитель Ярцев. Принимаешь ли ты взыскание подопечной как своё?

Площадь затихла. Формулу знали наизусть все, даже дети. Ответ был один, и его полагалось сказать громко, чтобы слышали.

Мальчик молчал так долго, что секретарь поднял глаза от бумаги.

— Принимаю, — сказал Глеб Ярцев. — Как своё.

И только мать Севы, стоявшая в первом ряду, услышала, как он тихо добавил, глядя через реку:

— Пока.

Часть первая. Взыскание

Глава 1. Белая Гора

Бур заклинило в половине десятого, и Глеб полчаса выковыривал его из породы, пока бригадир орал сверху, что за простой сгрежут пайку всей смене.

На Белой Горе всё было белым. Известняковая пыль лежала на бараках, на вышках, на брезентовых робах, на лицах, и к концу первой недели Глеб перестал отличать её от собственной кожи. Она скрипела на зубах, забивалась под ногти и в складки век, и по ночам, когда он кашлял, на ладони оставалось белое. Старики говорили, что через пять лет известь садится в лёгкие насовсем, и человек начинает дышать, как дырявые меха. Глеб пробыл здесь год. Он считал. Он всегда считал.

Год и ещё шесть часов, если считать с того момента, как баржа ткнулась в причал под карьером и конвойный сказал: «Вылезай, спина».

Бур наконец пошёл. Глеб вытащил его, проверил головку, стёр с неё рукавом пыль и машинально посмотрел на правую ладонь. Шрам от прошлой зимы уже побелел, но ещё тянул, когда он сжимал кулак. Тогда сорвало крепление, и рукоять бура провернулась в руке, как живая. Фельдшер зашил без обезболивающего, потому что обезболивающее в карьерной санчасти было только для конвоя, и сказал: «Повезло, парень. Обычно пальцы». Глеб тогда подумал, что эта рана, по крайней мере, его собственная. Единственная за восемь лет.

— Ярцев!

Он поднял голову. На краю уступа стоял Шмель, весь белый, как мельник, и махал ему кепкой.

— Тебя к начальству. Бегом. Там какой-то хлыщ с Верха приехал.

— Меня?

— Тебя. — Шмель присел на корточки и понизил голос, хотя здесь, в грохоте дробилки, их не услышал бы никто. — На машине приехал. На чёрной. Глеб, ты чего натворил?

— Ничего, — сказал Глеб. — Я никогда ничего не творю. Ты же знаешь.

Шмель хмыкнул. Это была старая шутка, одна на весь Карьер. Здесь было четыреста человек, почти все меченые, и почти никто из них не сидел за своё.

* * *

Начальник карьера, майор Дронов, принимал в бывшей конторе управления: два окна, печка, портрет Председателя Белецкого на стене и под ним карта карьера с флажками. Сейчас майор стоял у окна и делал вид, что его здесь нет. За его столом сидел человек в сером пальто, которое стоило, наверное, как вся контора вместе с печкой.

Человек был худой, лет сорока, с аккуратным пробором и тонкими пальцами. Перед ним лежала папка. На папке Глеб прочитал перевёрнутые буквы: *Реестр. Канцелярия Главного регистратора*.

— Ярцев Глеб Николаевич, — сказал человек, не спрашивая. — Садитесь, пожалуйста.

Глеб сел. На стуле было чисто, и он подумал, что сейчас оставит на нём белое пятно размером со свои брюки. Человек тоже это подумал, Глеб увидел, как он на секунду опустил глаза. Но ничего не сказал.

— Меня зовут Вольский. Я секретарь Константина Аркадьевича Ростова. Вы, разумеется, знаете, кто это.

— Отец моей подопечной, — сказал Глеб.

— Главный регистратор Республики, — поправил Вольский мягко. — И, да, отец вашей подопечной. Как вы себя чувствуете?

Глеб не ответил. Вопрос был такой нелепый, что на него не было ответа. Вольский, кажется, понял и не стал ждать.

— Я задам вам несколько вопросов, а потом изложу предложение. От вас требуется только слушать. Решение не требуется прямо сейчас. Хотя, — он улыбнулся одними губами, — я буду признателен, если вы примете его до вечера. Я хотел бы успеть на последний паром.

— Спрашивайте.

— Сколько у вас черт?

— Двадцать три.

— Из них красных?

— Две.

— Взыскания за последние двенадцать месяцев здесь, на Белой Горе?

— Ни одного.

— Ни одного, — повторил Вольский и что-то отметил в папке. — Майор Дронов пишет о вас как о дисциплинированном и грамотном работнике. Пишет также, что вы занимались с другими заключёнными чтением и арифметикой. Это правда?

— Иногда.

— Зачем?

Глеб пожал плечами.

— Здесь много тех, кого взяли в поручители после десяти, а в Лицей не отдали. Бывает, что семья забирает. Им потом трудно читать протоколы. А протоколы надо уметь читать.

Вольский поднял глаза от папки и посмотрел на него с интересом, впервые за весь разговор.

— Зачем?

— Чтобы знать, за что тебя метят.

— Вы же знаете, за что. Это всегда написано.

— Написано, кто, — сказал Глеб. — За что, там часто непонятно.

Майор у окна кашлянул. Вольский, не оборачиваясь, сделал рукой короткий жест, будто стряхнул с рукава пылинку, и майор замолчал.

— Хорошо. Теперь предложение. Первого декабря Республика отмечает сорокалетие Согласия. Вы, вероятно, слышали.

— Здесь каждое утро по радио.

— Значит, слышали. На Мосту будет большая церемония. Председатель Совета скажет речь. Будет хроника на экране, оркестр, представители всех округов, обоих берегов. И будет, — Вольский чуть помедлил, — один особый момент. Константин Аркадьевич считает, что Юбилей должен показать Согласие в действии, на живом примере. Статья девятая, как вы знаете, всегда вызывала больше всего вопросов. Особенно в Низу. Поэтому на церемонии Главный регистратор лично вручит своей дочери Чистый лист. Ей исполнится восемнадцать ровно в полдень первого декабря, она родилась в День Согласия. Красиво, правда?

Глеб молчал.

— А вслед за этим, — продолжил Вольский, — Председатель Совета вручит её поручителю Признание. Голос. Полное гражданство Верха, жильё на Нагорной стороне для него и его семьи, место в Политехническом институте. Публично. Перед двумя берегами. Подопечная и поручитель пожмут друг другу руки на середине Моста. Это будет первое Признание за одиннадцать лет. Константин Аркадьевич считает, что это покажет Низу то, что Низ, к сожалению, забывает: статья девятая работает, и честное служение вознаграждается.

В конторе было тихо. За окном бухнул взрыв в дальнем забое, стёкла звякнули, с потолка посыпалась тонкая белая струйка. Майор не шелохнулся. Вольский тоже.

— Почему я? — спросил Глеб.

— Потому что вы поручитель его дочери.

— Я поручитель его дочери, которая задавила моего друга, — сказал Глеб. Голос у него был ровный, и он сам удивился, насколько ровный. — Это все знают. В Затоне, на Песках. Все. Вы хотите, чтобы я пожал ей руку на Мосту, на глазах у матери Севы?

Вольский закрыл папку.

— Я понимаю, что вы чувствуете.

— Нет.

— Хорошо. Я не понимаю, что вы чувствуете. — Вольский не обиделся, он вообще, кажется, не умел обижаться. — Но я понимаю, что предлагаю. Вас освобождают сегодня, по Юбилейной амнистии, с отменой оставшегося срока. Вы проходите девять недель восстановительной службы. Это новая программа, её одобрил Совет. Поручитель живёт и работает в доме подопечной, помогает по хозяйству, участвует в подготовке к церемонии. Это нужно, чтобы на Мосту вы выглядели как два человека, которые знают друг друга, а не как два незнакомца. Камеры, понимаете. Кинохроника. Потом церемония, Признание, и вы больше никогда в жизни не увидите ни Карьера, ни Площади Оглашений. Ни вы, ни ваша мать. Ни ваша сестра.

Глеб поднял голову.

— Лизе в ноябре десять, — сказал Вольский тем же мягким тоном. — Пятнадцатого ноября, если не ошибаюсь. Это значит Отбор. Мы оба знаем, как оценят дочь Ярцевых на Отборе. Умная девочка, здоровая, из семьи поручителя. Её возьмут в первую десятку. Если, конечно, к тому моменту семья Ярцевых не будет числиться на Нагорной стороне. На Нагорной стороне Отбора нет.

— А если я откажусь?

— Тогда вы досидите свой срок. Ещё год. А Лиза пройдёт Отбор как все.

Это было сказано без угрозы. Вольский просто перечислял обстоятельства, как перечисляют пункты договора. Глеб смотрел на его тонкие пальцы, лежавшие на закрытой папке, и думал, что этими пальцами, наверное, подписано больше переносов, чем он видел в жизни черт.

— Она знает? — спросил он.

— Кто?

— Мирослава Константиновна.

Вольский чуть приподнял брови, впервые удивившись.

— Узнает сегодня вечером. Отец ей скажет.

— А если она откажется?

— Подопечные не отказываются, — сказал Вольский. — Подопечным это не нужно.

* * *

Он вернулся на уступ к обеду. Шмель сидел на ящике из-под взрывчатки и ел хлеб с солью, держа его двумя пальцами, чтобы не испачкать белым.

— Ну?

Глеб сел рядом. Рассказал. Шмель слушал, жевал, перестал жевать.

— Иди ты, — сказал он наконец.

— Ага.

— Признание? Тебе? Голос?

— Если пожму ей руку на Мосту.

— Да я б ей обе пожал. И ногу. — Шмель засмеялся, но смех у него вышел короткий и какой-то сломанный. — Глеб, ты что, думаешь? Ты сидишь и думаешь?

— Думаю.

— О чём тут думать?! — Шмель наклонился к нему, и Глеб увидел в его белом от пыли лице красные глаза. У Шмеля мать лежала в Затоне с больными почками третий месяц, и лекарств, которые ей были нужны, в Низу не продавали. Только на Верху, по рецепту, за деньги, которых у Шмелёвых не было никогда. — Ты понимаешь, что тебе предлагают? Тебе предлагают вылезти. Всем вам. Мать твоя больше никогда к станку не встанет. Лиза пойдёт в верхнюю гимназию. Ты выучишься на своего инженера. Глеб, люди за такое...

— Люди за такое что?

Шмель замолчал.

— Я пожму руку человеку, который убил Севу, — сказал Глеб. — И все это увидят. Мать Севы увидит. На Мосту, на экране, под оркестр. А потом я перееду на Верх и буду жить через три улицы от Ростовых. И каждый день ходить мимо их дома.

— Это не она его убила, — сказал Шмель.

— Что?

— Ну то есть она. Но не она. — Шмель потёр лицо, размазав пыль. — Ты сам говорил. Это всё машина, это Низовка, это закон. Им никто никогда ничего не запрещал, вот они и такие. Она ж не знала, что он там будет. Она пьяная была.

— Это ей оправдание или мне?

Шмель не ответил. Они посидели молча. Внизу, в забое, рабочие грузили известняк на вагонетки, и вагонетки по одной уходили к дробилке, и дробилка ревела, и от её рёва дрожали ящики, на которых они сидели.

— Меня тоже отпускают, — сказал вдруг Шмель. — По амнистии. Я утром узнал, хотел тебе сказать. Четырнадцать человек с Горы. Тебя и меня в один день.

Глеб посмотрел на него.

— Поздравляю.

— Ага. Спасибо. — Шмель отвёл глаза. — Слушай. Если ты согласишься, ты же будешь на Верху. В доме у самого Ростова. Ты там будешь видеть всякое. Людей. Там же аптеки, у них...

— Шмель.

— Я просто говорю.

— Я понял, что ты говоришь.

Шмель кивнул и долго смотрел на хлеб в своей руке, будто не помнил, откуда он взялся. Потом откусил ещё раз, но жевать не стал, а так и сидел с полным ртом, глядя в забой.

Глеб встал. Он поднялся по уступу к конторе, где у крыльца стоял чёрный «Гранд» с верхними номерами, и шофёр курил, прислонившись к крылу, и посмотрел на Глеба так, как смотрят на погоду. Глеб постучал в дверь конторы. Вольский сидел за тем же столом, с той же папкой, и, кажется, ни разу за всё это время не пошевелился.

— Я согласен, — сказал Глеб. — У меня одно условие.

— Слушаю.

— Если я сделаю всё, что вы скажете, и пожму ей руку, Лиза не пойдёт на Отбор. Ни в каком случае. Даже если что-то сорвётся.

Вольский посмотрел на него долгим взглядом и кивнул.

— Это разумное условие. Я передам Константину Аркадьевичу.

— Мне нужно, чтобы вы его не передали, а записали.

Вольский снова открыл папку, достал перо и что-то написал на отдельном листе. Протянул лист Глебу. Там было ровным почерком: *Сестра поручителя, Ярцева Е. Н., освобождается от Отбора по завершении восстановительной службы. Вольский.* И сегодняшнее число.

— Этот лист ничего не стоит, — сказал Вольский спокойно. — Вы это понимаете.

— Понимаю.

— Но вы хотите его взять.

— Да.

— Хорошо, — сказал Вольский. — Берите. Вы мне нравитесь, Ярцев. Это не имеет значения, но вы мне нравитесь.

* * *

Баржа пришла в Устье к вечеру.

Четырнадцать амнистированных сидели на мешках с цементом, на корме, под мелким сентябрьским дождём, и почти не разговаривали. Кто-то спал. Кто-то смотрел на воду. Шмель сидел рядом с Глебом и вертел в руках справку об освобождении, складывая и раскладывая, как будто проверял, что она всё ещё там. Глеб смотрел на берега. Ладь здесь, ниже города, была широкая и медленная, серая, и берега у неё были разные. Левый низкий, с камышами, заводями, рыбацкими сараями, с трубами Сортировки вдалеке. Правый высокий, глинистый, обрывистый, и чем ближе к городу, тем выше, и на нём сначала дачи, потом сады, потом стены, и наконец сам Верх: белые дома с колоннами ярус за ярусом, зелёные крыши, купол собора на самой макушке горы.

Мост показался из-за поворота сразу, весь, длинный, на восьми опорах, с ажурными фермами старой постройки, и Глеб, не удержавшись, начал считать пролёты. Восемь опор, девять пролётов. Средний длиннее остальных, его восстанавливали после Смуты, и восстанавливали плохо: фермы там другие, поздние, клёпаные вкривь. Отец когда-то показывал ему это с набережной. Говорил: «Видишь, Глебка, середину? Её чинили в спешке, к подписанию. Хотели, чтобы мир заключили на целом мосту. Вот и заключили. Мост целый, а середина на соплях».

На середине Моста висел экран. Огромный белый щит на стальных тросах, и на нём горело: *СОРОК ЛЕТ МИРА. ДО ЮБИЛЕЯ 72 ДНЯ*.

— Семьдесят два, — сказал Шмель. — Это сколько недель?

— Десять с хвостиком.

— А тебе служить девять.

— Да.

Шмель помолчал.

— Глеб, ты на меня не злись. За то, что я там говорил. Про аптеки.

— Я не злюсь.

— Просто мать...

— Я знаю. Я не злюсь, Шмель.

Шмель кивнул и сунул справку за пазуху. Баржа, гудя, повернула к грузовым причалам Затона. На берегу уже горели фонари. Не все, через один: в Затоне всегда горели через один, и никто не помнил, когда было иначе.

* * *

Мать ждала на причале.

Он не знал, как она узнала. Наверное, Вольский позаботился и об этом, или кто-то из портовых передал по цепочке, как в Низу передаётся всё, быстрее телефона. Она стояла под фонарём в старом синем плаще, который он помнил ещё с детства, и держала за руку Лизу. Лиза выросла. Это было первое, что он увидел, и это было так странно, что он остановился на сходнях, и сзади на него налетел кто-то из амнистированных и выругался.

За год Лиза вытянулась на полголовы, остригла волосы до плеч, и у неё появилось новое выражение лица, взрослое, недоверчивое, будто она заранее не верила тому, что видит. Она

смотрела на него и не двигалась. Потом мать отпустила её руку, и Лиза пошла к нему по причалу, сначала медленно, потом быстрее, а потом побежала и врезалась в него с такой силой, что он пошатнулся.

— Ты белый, — сказала она ему в куртку. — Ты весь белый. Ты чего белый?

— Это пыль.

— Ты как привидение.

— Отмоюсь.

— Ты худой. Мама, он худой!

— Вижу, — сказала мать. Она подошла и стояла рядом, и не обнимала его, и он знал почему: если обнимет, то заплачет, а она не плакала при людях. Она протянула руку и дотронулась до его щеки, и пальцы у неё были жёсткие, исколотые, пахнущие машинным маслом и мокрой шерстью. Сукновальня. Двадцать лет за станком. — Глеб.

— Мам.

— Пойдём домой. Я щи сварила.

* * *

Дома, на Кирпичной, всё было так же. Две комнаты на третьем этаже, кухня с колонкой, окно во двор, в окне напротив чужое бельё. Его раскладушка стояла за шкафом, сложенная, и на ней лежала стопка книг, которые он оставил год назад: «Сопротивление материалов», «Мостовые конструкции», «Основы строительной механики». Лиза, видимо, их не трогала. Только на самом верху лежал новый лист, не его, в клетку, вырванный из школьной тетради. На листе карандашом был нарисован мост. Неуклюжий, детский, на четырёх опорах, с перилами и фонарями, и на середине моста стояли три человечка, держась за руки. Под рисунком было написано: *ЕСЛИ ТЫ ВЕРНЁШЬСЯ. ЛИЗА. 9 ЛЕТ.*

Он долго смотрел на рисунок.

— Это я перед днём рождения нарисовала, — сказала Лиза из-за спины. — Перед своим. Потому что ты всегда рисуешь мосты, я подумала, если я нарисую, ты вернёшься быстрее. Это глупо?

— Нет.

— Это была магия.

— Сработала.

— Ну да. — Лиза подумала. — Только я на семь месяцев раньше рисовала. Значит, медленная магия.

Он засмеялся, первый раз за год, и смех вышел хриплый и непривычный, как будто горло забыло, как это делается.

За ужином мать спросила, и он рассказал. Про Вольского, про Юбилей, про восстановительную службу. Про Признание. Он ждал, что она скажет. Он думал об этом всю дорогу на барже, перебирал варианты, готовил ответы. Мать могла сказать: «Нет». Мать знала Севу с пелёнок, Сева ел у них на кухне чаще, чем дома. Мать стояла на Площади в тот день, когда ему ставили красную.

Мать положила ложку.

— Голос? — сказала она. — Тебе дадут Голос?

— Если всё пройдёт.

— И квартиру на Нагорной?

— Так сказали.

Она долго молчала, глядя в тарелку. Лиза переводила взгляд с одного на другого.

— Сорок лет, — сказала мать тихо. — Сорок лет Согласия, и за сорок лет признали девятерых. Глеб. Ты понимаешь? Девятерых. Я двадцать лет на Сукновальне, у меня глаза уже

сели, мне через пять лет станок не видно будет. Отец твой... — она запнулась. — Ты понимаешь, что это значит для Лизы?

— Понимаю, мам.

— Тогда о чём ты думаешь?

Он не ответил. За стеной у соседей заплакал ребёнок, потом перестал. Мать протянула руку через стол, взяла его левую руку и повернула запястьем вверх. Задрала рукав. Двадцать три черты, столбиком, от запястья почти до середины предплечья. Двадцать одна чёрная. Две красные: старая, выцветшая, и новая, яркая, ещё припухшая по краям, хотя ей был уже год. Красную тушь кожа не принимала до конца никогда.

Мать провела пальцем по новой красной. Как будто могла её стереть.

— Ты это заработал, — сказала она. — Не они. Ты. Каждую. Ты за это восемь лет платил. Это твоё, Глеб. Возьми.

* * *

Он не смог уснуть. В час ночи он встал, оделся и вышел. Мать спала, Лиза спала, раскинувшись поперёк кровати, как всегда. На лестнице пахло кошками и сырой штукатуркой.

На улице было свежо и пусто. Он пошёл к реке, не думая, куда идёт, и только у старой красильни понял, куда. Он перелез через забор там же, где перелезал Сева, и прошёл по пустырю, и поднялся на насыпь. Лестница у разводного моста так и висела, вывернутая от стены. Её не починили. В Затоне ничего не чинили.

Он сел на шпалы и долго смотрел на реку. Внизу на отмели лежали чьи-то цветы, давно засохшие, перевязанные бечёвкой. И кто-то повесил на перекладину лестницы ленту, выцветшую до серого.

— Не холодно? — спросили сзади.

Глеб обернулся. На насыпи стояла женщина в длинном рыбацком плаще с капюшоном. Он узнал её не сразу, а потом узнал по голосу. Низкий, хрипловатый, такой голос бывает у людей, которые много говорят в парной.

— Тума.

— Здравствуй, Глеб. — Тума спустилась к нему и села рядом на шпалы, не спрашивая. От неё пахло дымом и берёзовым листом. Она откинула капюшон, и он увидел знакомое лицо: широкое, скуластое, с тяжёлыми веками и тонким белым шрамом через бровь. — Шмель сказал, что ты сюда придёшь. Он сказал, ты сюда придёшь в первую ночь.

— Шмель много говорит.

— Шмель говорит то, что видит. — Тума помолчала. — Мне сказали про Вольского. Про Мост. Про Признание.

— Быстро.

— У нас всё быстро. Медленно у нас только хорошее.

Глеб ничего не ответил. Тума смотрела на реку. Её левая рука лежала на колене, и рукав плаща сполз, и он видел её запястье. Сорок одна черта. Он знал, сколько. Все в Затоне знали. Сорок одна черта, из них шесть красных. Тума была поручительницей младшей сестры банкира Летова. Говорили, что последние черты ей ставили за проступки того времени, когда Летова-младшая уже была замужем и жила за границей, и что этого не могло быть по закону, но так было. Глеб в это не верил. Раньше.

— Я пришла сказать одну вещь, — сказала Тума. — Ты можешь её не слушать. Можешь встать и уйти. Ты меня знаешь, я не держу.

— Говори.

— Сева нёс мне кое-что в ту ночь. Не донёс.

Глеб замер.

— Что?

— Страницу. Из подвала Реестра. Его мать её вынесла. Мы год этого ждали, Глеб. Год искали способ. Она бы пришла ко мне в два часа, и мы бы знали.

— Что знали?

Тума повернулась к нему.

— Что на свете есть одна книга, которая стоит дороже, чем весь Верх, — сказала она. — В подвале Биржи, где Реестр. Там ведут переносы, ты знаешь. Подопечный нашкодил, протокол, лист, поручитель, черта. Всё по закону. Но есть ещё вторая книга. Её называют Книгой правок. Туда пишут то, чего нет в протоколах. Чужое. Взрослое. Что сделали те, у кого уже нет поручителей, кому восемнадцать, двадцать, сорок. Что сделал какой-нибудь советник, его брат, его сын. Это переписывают на листы детей, которым ещё нет восемнадцати. А с листов детей оно уходит на поручителей. На нас.

— Это неправда, — сказал Глеб.

Тума усмехнулась.

— Ты сам сейчас сказал это не своим голосом.

Он молчал. В голове крутилось. Последние две черты Тумы, которые ставили, когда её подопечная жила за границей. Тот мальчишка с Песков, который получил Карьер за драку, когда его подопечный, сын судьи, лежал с переломом в больнице, и это видели все. Старик на Горе, который говорил: «Ты, парень, думаешь, что все твои черты её. А ты проверь».

— Ты будешь жить у Ростова, — сказала Тума тихо. — В его доме. Главный регистратор. Человек, у которого ключи от подвала Биржи. Ты будешь ходить мимо его кабинета каждый день. Девять недель.

— Нет.

— Я ещё ничего не попросила.

— Ты попросишь, — сказал Глеб. — Я знаю, что ты попросишь. И я тебе отвечаю: нет. У меня мать, у меня Лиза. Мне дали бумагу, что её не возьмут на Отбор. Я пожму руку этой девочке, я получу Голос, я увезу их на Верх, и они больше никогда не будут стоять на Площади. Вот что я сделаю. Это всё.

Тума кивнула, будто ждала именно этого.

— Хорошо, — сказала она. Встала, отряхнула плащ, надела капюшон. — Я не держу. Ты знаешь, где баня. Если когда-нибудь захочешь узнать, что было в той странице, приходи.

— Ты знаешь, что в ней было?

— Половину, — сказала Тума. — Нина успела прочитать половину, пока несла её в рукаве. Она мне рассказала. Одну строчку она запомнила очень хорошо. Хочешь знать какую?

Глеб не ответил. Тума наклонилась к нему и сказала тихо, почти в самое ухо:

— Там было твоё имя.

Она ушла по шпалам, не оборачиваясь, и её плащ слился с темнотой насыпи раньше, чем стихли её шаги. Глеб сидел и смотрел на реку. На том берегу горел Верх, ярус за ярусом, и где-то там, на Нагорной улице, в белом доме с колоннами, девочка, которую он никогда в жизни не видел, наверное, уже знала, что через три дня он приедет жить в её дом.

Он закатал рукав и посмотрел на свои черты в свете далёкого экрана на Мосту.

ДО ЮБИЛЕЯ 72 ДНЯ.

Буквы сменились. *СОРОК ЛЕТ МИРА.*

Он опустил рукав.

Глава 2. Чистый лист

В гимназии Согласия было принято ходить с открытыми запястьями.

Никто этого не требовал. В уставе об этом не было ни слова, и форма у гимназистов была самая обычная, тёмно-синяя, с белыми воротничками, и рукава у пиджаков длинные, как у всех. Но с сентября до первых морозов пиджаки носили расстёгнутыми, рукава блузок закатывали до локтя, а на левое запястье надевали что-нибудь тонкое: цепочку, браслет из бусин, шёлковую ленточку. Так было красивее. Так было видно, что там ничего нет.

Мира Ростова ходила с рукавами до пальцев.

Она натягивала манжеты на костяшки и держала их кулаками, как держат в мороз. В сентябре это выглядело странно, в октябре чуть менее странно, к ноябрю об этом забывали. Так было весь прошлый год. В этом году никто уже не спрашивал. Девочки из её класса пожимали плечами и говорили между собой, что Ростова «так и не отошла», и в их тоне было то особенное верхнее сочувствие, в котором сочувствия меньше, чем любопытства.

— Мира, у тебя опять рукава, — сказала Соня Летова на большой перемене и, не спрашивая, потянула её за манжету. — Двадцатое сентября! Там двадцать градусов. Ты в обморок упадёшь.

— Не упаду.

— Упадёшь, и я тебя не понесу. — Соня закатала собственный рукав ещё выше, чтобы показать, как надо. На её запястье, тонком, загорелом после лета на взморье, болталась нитка жемчуга. — Вот. Смотри. Красиво же.

— Красиво.

— Ну так.

— Соня, — сказала Мира, — отстань.

Соня отстала. Она всегда отставала, когда Мира говорила таким голосом, а потом через пять минут возвращалась как ни в чём не бывало, и за это Мира её любила, хотя никогда бы ей этого не сказала. Они сидели на подоконнике в рекреации второго этажа, откуда был виден весь гимназический двор, липы, фонтан и за оградой спуск к реке. Внизу, у фонтана, мальчики из выпускного класса играли в лапту. Кто-то промахнулся, мяч улетел в клумбу, и садовник, пожилой человек из Низа в сером фартуке, молча пошёл за ним.

— Тебе семьдесят два дня, — сказала Соня, глядя на мальчиков. — Мне двести. Ненавижу, что я весенняя. Все будут уже чистые, а я ещё нет.

— Тебе-то что. Ты же ничего не делаешь.

— Я много чего делаю. — Соня хихикнула. — Просто аккуратно. — Она помолчала. — Ты уже придумала, какое платье?

— Для чего?

— Мира! Для Листа! Тебе Лист вручают на Мосту, при всех! Ты что, не знаешь?

Мира медленно повернулась к ней.

— Откуда ты знаешь?

— Папа сказал. — Соня посмотрела на неё и перестала улыбаться. — Ой. Тебе ещё не сказали?

* * *

Ей сказали за ужином.

Ужинали в малой столовой, втроём, как всегда по будням. Отец во главе стола, мать справа от него, Мира слева. Окна были открыты в сад, и из сада тянуло яблоками и прелой

листвой, и откуда-то снизу, с реки, доносились гудки барж. Марфа подала окуня, запечённого с лимоном, и молодую картошку с укропом, и ушла, и закрыла за собой дверь, и стало слышно, как тикают часы на каминной полке.

Отец заговорил о Юбилее, когда Мира доедала картошку. Он рассказывал спокойно, неторопливо, как рассказывал всё. Он вообще никогда не повышал голоса. Мира не помнила, чтобы отец хоть раз кричал, даже на неё, даже тогда, после оранжереи, когда ей было четырнадцать, и директор гимназии три часа сидел у них в гостиной. Константин Аркадьевич Ростов говорил так, как будто то, что он говорил, уже случилось, и он просто ставит собеседника в известность.

Мост. Полдень. Оркестр, хроника, Председатель Совета. Чистый лист в серебряной папке. И потом, после Листа, первое за одиннадцать лет Признание.

— Признание кого? — спросила Мира.

Отец положил вилку.

— Твоего поручителя, — сказал он. — Ярцева.

В столовой стало очень тихо. Даже часы, показалось ей, на секунду перестали тикать.

— Нет, — сказала Мира.

— Мира.

— Нет. Папа. Нет. Ты не можешь.

— Я понимаю...

— Ты не понимаешь! — Она отодвинула стул, и ножки стула громко проехали по паркету. Мать поморщилась от звука. — Он сидит в Карьере. Из-за меня. За то, что я... ты знаешь, за что. Его весь Низ знает. И ты хочешь вывести его на Мост и заставить пожать мне руку? Перед всеми? Перед его... перед матерью этого мальчика?

— Сядь, пожалуйста.

— Не сяду!

— Мирослава, — сказала мать.

Мира села. Не потому, что мать сказала. Просто у неё подогнулись колени.

Мать сидела очень прямо, как сидела всегда, и смотрела на неё через стол серыми спокойными глазами. Инга Ростова была красивой женщиной, высокой, светловолосой, с тонкой шеей и длинными руками, и на обоих её запястьях, как всегда, были широкие серебряные браслеты, гладкие, без узоров, почти до середины предплечья. Мира никогда не видела мать без них. Даже в бассейне на даче, даже утром, в халате. Это была мамина привычка, такая же неизменная, как её прямая спина и её голос, который никогда не дрожал.

— Он уже не в Карьере, — сказал отец. — Его освободили сегодня. По амнистии. Он знает о церемонии и согласился.

— Согласился?

— Да.

— Он согласился пожать мне руку.

— Да.

— За Признание.

— Мира, — сказал отец и потёр переносицу двумя пальцами, как делал, когда уставал. — Да. За Признание. За Голос, за квартиру, за учёбу. За то, что его сестра никогда не пойдёт на Отбор. Ты осуждаешь его за это?

— Я не его осуждаю.

— Тогда кого?

Мира не ответила. Отец смотрел на неё, и в его глазах было то, что она ненавидела больше всего на свете, потому что не могла с этим спорить. Он её жалел. Не так, как жалели в гимназии, с любопытством. Он жалел её по-настоящему, и от этой жалости было невозможно ни убежать, ни отмахнуться.

— Послушай меня, — сказал он. — Пожалуйста. Одну минуту. Я знаю, что тебе тяжело. Я знаю, что ты весь год носишь эти рукава. Я знаю, что ты почти не выходишь из дома и что ты посылаешь деньги на Затон, на Песчаную улицу, каждый месяц, без обратного адреса.

Мира вздрогнула.

— Ты...

— Я Главный регистратор, Мира. Я знаю, что делается в почтовом ведомстве. — В его голосе не было упрёка. — Я тебе не мешаю. Это правильно, что ты так делаешь. Я тобой горжусь. Но ты должна понять. То, что случилось той ночью, было ужасно. Мальчик погиб. Это непоправимо. Но закон отработал. Взыскание наложено, поручитель его понёс. Так устроено Согласие, так оно работает сорок лет, и благодаря этому сорок лет на обоих берегах никто не стреляет. Теперь у нас есть возможность показать, что закон не только наказывает. Что он ещё и вознаграждает. Что мальчик, который честно нёс твою ношу, получит за это всё, о чём человек в Низу может мечтать. Ты понимаешь, что это значит для Низа? Для тех, кто сейчас смотрит на Мост и думает, что статья девятая — это просто способ над ними издеваться?

— А это не так?

Отец помолчал.

— Нет, — сказал он. — Это не так. Это способ сделать так, чтобы у их детей было будущее. У лучших из них. Признание, Голос, Верх. Это лестница, Мира. Узкая, трудная, я не спорю. Но единственная.

— По которой за сорок лет поднялись девять человек.

— Десять, — сказал отец. — С Ярцевым будет десять.

Мира посмотрела на мать. Мать смотрела в свою тарелку. Её пальцы, длинные, белые, медленно поворачивали левый браслет на запястье, вокруг, вокруг, как поворачивают кольцо.

— Мама, — сказала Мира. — Скажи ему.

— Что сказать?

— Что это... что так нельзя.

Мать подняла глаза.

— Твой отец прав, — сказала она ровно. — Это хорошее дело.

— Ты правда так думаешь?

— Я думаю, что этому мальчику дадут жизнь, которой у него иначе никогда не будет. — Мать отпустила браслет. — И я думаю, что ты должна быть благодарна. Тебе дали возможность сделать для него что-то, кроме конвертов без обратного адреса.

Это было сказано без злобы, просто, как говорят о погоде, и от этого стало ещё хуже. Мира встала. На этот раз стул не проехал по паркету: она отодвинула его осторожно, двумя руками.

— Есть ещё одно, — сказал отец ей в спину.

Она остановилась у двери.

— Ярцев будет жить у нас.

Мира обернулась.

— Девять недель. Это называется восстановительная служба, Совет утвердил программу в августе. Он будет работать по дому и в саду, Марфа найдёт ему дело. Жить будет в гладильной, рядом с кухней, там есть кровать. Сержант Зотов из Службы Порядка будет за ним приглядывать, это формальность. Вам нужно будет несколько раз встретиться на репетициях. Потом церемония. Он приезжает в понедельник.

— Здесь, — сказала Мира. — Он будет жить здесь.

— Да.

— В моём доме.

— В нашем, — поправил отец мягко.

Мира закрыла за собой дверь. Тоже осторожно.

* * *

Тёмная комната была в подвале, в бывшей кладовой, рядом с котельной.

Её устроила бабушка по отцу, Вера Ростова, которая всю жизнь снимала и которую Мира помнила смутно: высокая старуха в мужском пиджаке, с фотоаппаратом на шее, от которой пахло уксусом и табаком. После её смерти кладовую хотели переделать под винный погреб, но Мира в одиннадцать лет устроила такую истерику, что отец махнул рукой. Тогда это была ещё черта, кстати. Нет. Истерики не были проступками, черту ставили только за то, что выходило за пределы дома. Она это знала. Она знала всё о чертах. Весь последний год она только и делала, что о них думала.

Она включила красный фонарь и закрыла дверь на щеколду.

Здесь было тихо и пахло химией. На верёвке над столом висели вчерашние отпечатки: Марфа на кухне, профиль, с ножом и луковицей. Садовник в гимназии. Старуха-цветочница у Моста. Последний год Мира снимала только лица. Только людей из Низа, тех, кто работал на Верху, и только тех, кто соглашался. Она подходила, спрашивала, давала деньги за снимок, если брали, и почти все брали, и почти все смотрели в объектив одинаково: прямо, без улыбки, как будто ждали, что их сейчас за что-нибудь накажут.

Она сняла отпечатки с верёвки и сложила их в коробку. Села на табуретку. Положила руки на стол.

Над столом, на полке, среди бутылей с проявителем и фиксажем, стояла жестяная коробочка из-под леденцов. Красная, с золотыми буквами. Мира не трогала её год. Она знала, что внутри: одна кассета плёнки, тридцать шесть кадров, из бабушкиной «Зоркой». Плёнка из той ночи. Она снимала тогда весь вечер, Соню на Мосту, мальчиков с бутылками на набережной, огни Затона из окна машины, и почти ничего из этого не помнила. Утром, когда она проснулась в своей кровати, с больной головой и синяком на виске, фотоаппарат лежал на тумбочке. Кто-то принёс его в дом вместе с ней. Она вынула плёнку через три дня, когда пришло Извещение, и положила её в коробочку, и поставила на полку, и с тех пор не могла заставить себя даже посмотреть на эту полку.

Она посмотрела.

Извещение лежало в верхнем ящике стола. Она знала его наизусть, но достала и прочитала снова, при красном свете, в котором буквы казались чёрными, как запёкшаяся кровь. Казённый бланк, водяной знак, печать Реестра.

Подопечной Ростовой М. К. Извещаем, что по протоколу Службы Порядка № 2214/39 от 14.09.39 Вам вменяется: наезд на пешехода со смертельным исходом (потерпевший Кравец В. И., 16 л.), управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение комендантского часа. Взыскание (черта красная, Карьер «Белая Гора», 2 г.) наложено на поручителя Ярцева Г. Н. согласно статье девятой. Лист подопечной остаётся чист. Реестр благодарит Вас за доверие к Согласию.

Реестр благодарит Вас за доверие к Согласию. Каждый раз, когда она дочитывала до этой строчки, ей хотелось засмеяться, и каждый раз она не смеялась.

Она не помнила, как села за руль. Она не помнила, как ехала. Она вообще почти ничего не помнила после того, как они проехали КПП на Мосту, и Артём сунул сержанту в окно какую-то купюру, и сержант отдал честь и поднял шлагбаум. Потом было шампанское, сладкое, тёплое, из горлышка. Потом огни. Потом её укачало. Потом, через какое-то время, удар, и звон в ушах, и чей-то голос сказал ей: «Спи, Мир». Потом утро.

В то утро к ней в комнату пришёл отец, сел на край кровати и долго молчал. Потом сказал: «Ты была за рулём. Ты не помнишь, это от шока. Артём говорит, ты сама попросила, ты

хотела попробовать, и он не смог тебя отговорить. Был несчастный случай. Мальчик из Затона. Мне очень жаль, родная. Ничего не говори. Ни с кем не говори. Всё уже решено».

Она тогда спросила: «Что решено?»

Он сказал: «Всё. Ты ни в чём не будешь отвечать. Это закон».

Она спросила: «А кто будет?»

И он не ответил.

Имя пришло с Извещением. Ярцев Г. Н. Она нашла его в гимназическом справочнике поручителей, который вела канцелярия: *Ярцев Глеб Николаевич, Кирпичная ул., 14, кв. 9, Лицей поручителей, выпуск 41-го года*. Ни фотографии, ни описания. Только адрес и год. Подопечным не полагалось знать своих поручителей в лицо. Это было неприлично, как неприлично спрашивать у прислуги, сколько ей платят. Мире было десять, когда ей сообщили, что у неё теперь есть поручитель, и она тогда спросила маму: «А кто это?» Мама сказала: «Это человек из Низа, который будет отвечать за тебя, если ты сделаешь что-то плохое. Так что не делай ничего плохого, пожалуйста». А потом подумала и добавила: «Ты его никогда не увидишь. Тебе и не нужно».

Мира делала много чего плохого. Она теперь знала, сколько. Двадцать три раза за семь лет. Она нашла копии всех Извещений у отца в столе, весной, когда залезла туда за ножом для бумаги, и разложила их на ковре по датам, и сидела над ними полночи. Окно в гимназии. Шоколадка в «Пассаже». Гувернантка, мадемуазель Ренье, которую она укусила за палец, потому что та не пустила её на каток. Её детство лежало на ковре в виде двадцати трёх казённых бланков, и под каждым стояло одно и то же имя.

Взыскание наложено на поручителя Ярцева Г. Н.

Каждый её проступок кто-то носил на руке. Она этого не знала. То есть знала, конечно, так знают, что Земля круглая: знают и не думают. В гимназии все знали. Это было частью мира, как погода. «У меня есть спина», говорили мальчики, перелезая через ограду, или разбивая фонарь, или удирая с уроков на реку, и смеялись. «Спина всё стерпит». Мира тоже смеялась, наверное. Наверное, она тоже так говорила. Она не помнила.

Она помнила только одно: что в тот день, когда она прочитала Извещение о Севе Кравце, она пошла в ванную, закатала левый рукав и долго смотрела на своё запястье. Чистое. Белое, тонкое, с голубыми венками. Ни одной черты. Ни одной.

С того дня она носила рукава.

* * *

В дверь постучали.

— Мира? Ты там? Марфа сказала, ты внизу.

Артём.

Она быстро убрала Извещение в ящик, щёлкнула выключателем, и вместо красного загорелся обычный свет, жёлтый, резкий. Открыла дверь.

Артём Белецкий стоял на ступеньках подвала, наклонив голову, чтобы не задеть притолоку. Он был высокий, светловолосый, загорелый, в белой рубашке с расстёгнутым воротом, и улыбался, как всегда улыбался: так, будто он только что придумал что-то смешное и сейчас тебе расскажет. Мира знала его всю жизнь. Их отцы дружили ещё со студенчества, их матери вместе вели благотворительные вечера, их дачи стояли рядом на излучине, и в детстве Артём учил её плавать, бросая с мостков в воду, а потом прыгал сам и вытаскивал, хохочущую и задыхающуюся. В прошлом году он закончил гимназию. Ему исполнилось девятнадцать в августе. Он работал теперь в канцелярии у отца, носил запонки и говорил о политике.

Мира не видела его с весны. Он заходил несколько раз, она не выходила.

— Привет, затворница, — сказал Артём. — Пустишь?

— Здесь тесно.

— Я худой. — Он протиснулся мимо неё в кладовую, огляделся, присвистнул. — Ничего себе. Это всё ты? — Он кивнул на коробку с отпечатками, но открывать не стал. — Мама твоя сказала, ты теперь снимаешь. Серьёзно снимаешь.

— Что тебе нужно, Тём?

Он перестал улыбаться. Сел на табуретку, на которой только что сидела она, и посмотрел на неё снизу вверх, и лицо у него стало другим. Мягким. Почти виноватым.

— Мне отец рассказал. Про церемонию. Про твоего... ну, про этого, Ярцева. Я подумал, что ты, наверное, сейчас...

— Что я сейчас?

— Не знаю. Плохо тебе, наверное. — Он помолчал. — Мир. Я хотел сказать. Я давно хотел. Ты себя изводишь. Целый год. Это видно, все видят. Рукава эти. Ты не выходишь. Ты со мной не разговариваешь.

— Я ни с кем не разговариваю.

— Вот. — Он наклонился вперёд, упёрся локтями в колени. — Мир, это была случайность. Ты понимаешь? Случайность. Ты не хотела. Никто не хотел. Этот парень выскочил, ты не справилась с рулём, там шлак, там темно. Это могло случиться с кем угодно. Со мной могло. Если бы я тебе тогда руль не дал...

— Ты мне его дал?

— Ты попросила. — Он развёл руками. — Ты сама. Ты была такая весёлая, ты сказала: «Тёма, дай порулить, я никогда в Низу не рулила». Я сказал: «Ты пьяная». Ты сказала: «Ну и что, у меня есть спина». — Он невесело улыбнулся. — Ты прямо так и сказала. Я помню.

Мира смотрела на него. Она этого не помнила. Ни этих слов, ни руля, ничего. Но это было похоже на неё. На ту, прошлогоднюю. Она могла так сказать. Она не сомневалась, что могла.

— Я себе тоже не прощаю, — сказал Артём тихо. — Что дал. Каждый день думаю. Но, Мир, жить-то надо. Закон отработал. Парень, Ярцев этот, своё отсидел, теперь ему Признание дадут. Ты подумай: у него теперь жизнь будет, какой никогда бы не было. Благодаря тебе, по сути. Ну, не тебе, но... ты понимаешь. Всё как-то уравновесилось.

— Уравновесилось, — повторила Мира.

— Ну... да.

— Сева Кравец умер, а Глеб Ярцев получит квартиру на Нагорной. Это уравновесилось.

Артём открыл рот и закрыл. Потом встал. В тесной кладовой он стоял к ней почти вплотную, и от него пахло дорогим одеколоном и немного табаком, и он был так знаком, так безопасен, так весь из её детства, что ей вдруг захотелось уткнуться ему в плечо и разреветься, как в шесть лет, когда она упала с велосипеда. Она не уткнулась.

— Ты хорошая, — сказал Артём. — Ты всегда была хорошая. Вот поэтому тебе так плохо. Мне вот не так плохо, видишь. Потому что я хуже. — Он улыбнулся, на этот раз своей обычной улыбкой. — Пойдём наверх. Марфа пирог испекла. Мама твоя велела тебя вытащить. Пойдём, а?

— Иди. Я сейчас.

Он ушёл. Она слышала, как он поднимается по ступенькам, насвистывая, и как наверху хлопает дверь. Она постояла посреди кладовой, под жёлтым светом, и посмотрела на полку.

Жестяная коробочка из-под леденцов. Красная, с золотыми буквами.

Она протянула руку, сняла её с полки и подержала на ладони. Коробочка была лёгкая, почти невесомая. Внутри что-то тихо стукнуло о жесть, когда она её наклонила.

Тридцать шесть кадров. Где-то на них была та ночь. Может быть, Соня на Мосту. Может быть, огни. Может быть, ничего, засвеченная плёнка, потому что она тогда была пьяная и забыла перемотать. А может быть, там было что-то, что она не хотела видеть. Себя за рулём, например. Свою пьяную весёлую улыбку. *Тёма, дай порулить. У меня есть спина.*

Она поставила коробочку обратно на полку. Аккуратно, точно туда же, где она стояла год, в тот же кружок пыли.

* * *

Ночью она не спала. Лежала, смотрела в потолок и слушала дом. Дом был старый, ещё дедовский, и по ночам он разговаривал: трубы гудели, половицы потрескивали, где-то в стенах шуршало. Отец говорил, что это мыши. Мама говорила, что это просто дом.

В половине второго она встала, подошла к окну и раздвинула шторы. Из её окна была видна река. Вся, от излучины до излучины, широкая, чёрная, с дрожащими отражениями фонарей. За рекой лежал Низ, тёмный, плоский, редкие огоньки, трубы, краны Сортировки, как будто кто-то опрокинул на землю чернильницу и забыл вытереть. Между двумя берегами висел Мост, освещённый, как ёлочная гирлянда. На экране посередине горело: *ДО ЮБИЛЕЯ 72 ДНЯ*.

Где-то там, в этой чернильной кляксе, на Кирпичной улице, дом четырнадцать, квартира девять, был человек, которого она никогда не видела. Он сегодня вернулся из Карьера. Наверное, его встречала мать. Наверное, он сейчас спит в своей кровати, первую ночь за год.

Или не спит. Или сидит, как она, и смотрит через реку, на Верх, на эти белые дома с колоннами, и думает о ней. Какой она ему представляется? Она вдруг очень ясно представила, как он ненавидит её, и это было почти облегчением. Ненависть была бы честной. Ненависть она бы поняла.

Мира прижалась лбом к холодному стеклу.

В понедельник он приедет. Будет жить в гладильной. Будет носить уголь, чинить забор, подстригать розы, и есть на кухне с Марфой, и проходить мимо её двери. Девять недель. Будет смотреть на неё, или не будет смотреть. И у него на руке будут двадцать три черты, и все они её.

Она отошла от окна, села на кровать, закатала левый рукав и посмотрела на своё запястье в свете с реки.

Белое. Чистое.

— Я тебя не просила, — сказала она шёпотом, сама не зная кому. — Я никогда тебя не просила.

Дом не ответил. Где-то в стенах тихо зашуршало. Через семьдесят два дня ей вручат серебряную папку, и её лист будет чистым, как это запястье, и всё это закончится.

Только она уже знала, что не закончится.

Глава 3. Служебный вход

На Мост меченых пускали только пешком.

Глеб знал это всю жизнь, как знал, что зимой Ладь встаёт, а весной ломается, но никогда раньше не проверял сам. Он вообще никогда не был на Верху. Лицеистов возили туда раз в год, в День Согласия, на экскурсию: автобусом через КПП, потом строем по набережной, потом в Музей Смуты, где под стеклом лежали ржавые винтовки и пожелтевшие листовки, и обратно. Глебу тогда было двенадцать, у него было уже девять черт, и на КПП их всех построили у автобуса и проверили запястья по списку. Это заняло два часа. Экскурсия заняла полтора.

Теперь он шёл сам, с вещмешком на плече, по пешеходной дорожке левого края, и у него в кармане лежал пропуск: картонная карточка с фотографией, сделанной утром в комендатуре Затона, и красной печатью. *Временный пропуск. Восстановительная служба. Действителен до 01.12.40. Предъявлять по требованию.*

Мост вблизи был больше, чем казался с берега. Фермы уходили вверх, как рёбра огромного зверя, клёпаные, крашенные в серо-зелёный цвет, местами облупившиеся до ржавчины. Под ногами гудел настил. Мимо, по проезжей части, шли машины с верхними номерами, грузовики с Сортировки, трамвай без пассажиров, перегоняемый в депо. Ветер с реки был холодный, сырой, и пах водой и мазутом. Глеб шёл и считал опоры, и на третьей поймал себя на том, что смотрит на заклёпки.

Посередине Моста, там, где начинался поздний пролёт, висел экран. Вблизи он оказался не белым, а серым, из грубого полотна, натянутого на стальную раму, грязного по краям. Ночью на него светили проектором с крыши будки КПП, а днём он был просто тряпкой, и ветер его надувал, как парус. Под экраном рабочие в оранжевых жилетах строили помост. Пахло свежей сосновой доской. На помосте стоял человек с рулеткой и громко ругался в мегафон, что ступени должны быть шире, чтобы председатель не споткнулся.

Глеб остановился и посмотрел на помост.

Через десять недель он будет стоять здесь. Вот здесь, на этих сосновых досках. И она будет стоять напротив.

— Не задерживаемся, — сказал кто-то сбоку. — Проходим, проходим.

Сержант СП в серой шинели стоял у перил и смотрел на него, держа руки за спиной. Глеб пошёл дальше.

На правом конце Моста был второй КПП, верхний, и там его остановили. Это он тоже знал. Нижний КПП проверял тех, кто шёл в Низ, а верхний тех, кто шёл на Верх. Нижний был так, для порядка. Верхний был настоящий.

— Рукав, — сказал дежурный, не поднимая головы.

Глеб закатал левый рукав. Дежурный, молодой, с прыщавой шеей, посмотрел на черты, потом на пропуск, потом снова на черты, шевеля губами. Считал. Глеб стоял и ждал. За его спиной выстроилась очередь: две женщины с корзинами, видимо, прислуга, старик с ящиком инструментов, девочка лет пятнадцати в форме горничной. Все с закатанными рукавами. Все молча.

— Двадцать три, — сказал дежурный и поднял на него глаза. — Это ты, что ли? Ростовский?

— Я.

— Иди ты. — Дежурный оглянулся на напарника. — Слышь, Коля. Это Ростовская спина. Которую на Юбилей.

Напарник подошёл, посмотрел. Оба смотрели на Глеба с откровенным любопытством, как смотрят на экспонат в Музее Смуты.

— Двадцать три, — сказал напарник уважительно. — Это ж сколько она накуролесила, а?

— Мне пройти можно? — спросил Глеб.

— Можно, можно. — Дежурный шлёпнул печатью по пропуску. — Тебя там встречают.

* * *

Встречал его сержант Зотов.

Зотов стоял у машины, сразу за шлагбаумом. Невысокий плотный человек лет тридцати пяти, с короткой шеей и лицом таким же серым, как шинель. Он не протянул руки, не поздоровался. Он посмотрел на Глеба, на его вещмешок, на его ботинки, долго посмотрел на его левую руку, которую Глеб ещё не успел опустить, и сказал:

— Рукав опусти.

Глеб опустил.

— На Верху меченые ходят с опущенным, — сказал Зотов. — Тут не принято смотреть. Запомни.

— Запомню.

— Садись назад.

Ехали недолго. Машина поднималась от Моста по широкой улице, мощённой серым камнем, мимо особняков с садами, мимо чугунных оград, мимо фонтанов, в которых плавали жёлтые листья. Деревья здесь были старые, высокие, липы и клёны, и под ними гуляли люди. Люди с Верха. Глеб видел их раньше только издали и на экране: в кинохронике, в рекламе, на плакатах. Теперь они шли совсем близко, за стеклом машины, женщины в светлых пальто, мужчины в шляпах, дети с воздушными змеями. У всех были открытые запястья. Даже у детей. Даже у маленькой девочки лет пяти, которая сидела на плечах у отца и держалась за его уши: на её запястье болталась красная ленточка, и Глеб почему-то не мог оторвать от неё глаз.

— Не пялься, — сказал Зотов, не оборачиваясь.

Глеб отвернулся.

Нагорная улица была на самом верху, почти под собором. Дом номер семь стоял в глубине сада, за кованой оградой, белый, двухэтажный, с колоннами и высокими окнами, с балконом, увитым виноградом. Виноград уже покраснел. Машина проехала мимо главных ворот и свернула в переулок, к калитке в заборе, за которой виднелся хозяйственный двор: поленница, сарай, бельевые верёвки.

— Служебный вход, — сказал Зотов. — Ходишь только здесь. Через парадное нельзя. В комнаты хозяев без вызова нельзя. На второй этаж нельзя. Из дома после десяти нельзя. За ворота без меня нельзя. Если что-то из этого нарушишь, я узнаю. Если я узнаю, ты вернёшься на Гору досиживать. Вопросы?

— Нет.

— Хорошо. — Зотов впервые посмотрел ему прямо в глаза. Глаза у него были светлые, почти бесцветные. — Я двенадцать лет в Службе. Я видел много спин. Знаешь, что я про вас думаю?

Глеб молчал.

— Что вы все одинаковые, — сказал Зотов. — Сначала вы тихие. А потом вам что-нибудь в голову приходит. Так вот. Чтоб тебе ничего в голову не приходило. Понял?

— Понял.

— Иди.

* * *

Кухня Ростовых была больше, чем вся квартира Ярцевых на Кирпичной.

Она была в полуподвале, с окнами под потолком, через которые было видно ноги проходящих по саду, с огромной плитой, с медными кастрюлями на крюках, с длинным дубовым столом посередине, исцарапанным ножами за много лет. Пахло хлебом, луком и чем-то сладким, корицей, кажется. У плиты стояла женщина.

Ей было за шестьдесят. Маленькая, широкая, с короткими сильными руками и седыми волосами, убранными под косынку. Она помешивала что-то в кастрюле и не обернулась, когда он вошёл.

— Ярцев? — сказала она.

— Да.

— Шапку сними. Ты на кухне.

Глеб снял кепку.

— Вещи туда. — Женщина махнула деревянной ложкой в сторону узкой двери в углу. — Там гладильная. Твоя теперь. Кровать есть, одеяло есть, полка есть. Окно маленькое, но открывается. Если холодно, скажешь, дам второе одеяло. Туалет и умывальник по коридору налево, это для прислуги. Мыться в котельной, там душ, горячая вода по вторникам и пятницам. Сядь.

Он сел на край лавки у стола. Женщина наконец обернулась.

Лицо у неё было круглое, морщинистое, с маленькими быстрыми глазами, тёмными, как изюм. Она долго смотрела на него. Потом поставила перед ним миску, налила из кастрюли и положила рядом ломоть хлеба толщиной в два пальца.

— Ешь.

— Спасибо, я...

— Ешь, я сказала. Худой как жердь. Тебя на Горе что, вообще не кормили?

— Кормили.

— Видно, как кормили. — Она села напротив и смотрела, как он ест. В миске была густая похлёбка с мясом, с картошкой, с перловкой. Глеб не ел такого год. Он старался есть медленно и не мог. — Меня зовут Марфа Ильинична. Можно Марфа. Я тут тридцать два года. С Песков я, с Береговой. Хозяйку ещё девочкой помню, когда её хозяин только привёз. Мирославу Константиновну пелёнками помню.

— Вы с Песков?

— А что, по мне не видно? — Марфа фыркнула. — Тут вся прислуга с Низа. Кто ж ещё пойдёт. Садовник с Сортировки. Прачка с Затона. Шофёр с Кирпичной, Колька Кузьмин, может, знаешь.

— Знаю. Он моему отцу двоюродный брат.

— Вот. Видишь. — Марфа покивала. — Все свои. Ты не думай. Тут тебя никто не тронет. Хозяин у нас человек спокойный, хозяйка строгая, но не злая. Сержант этот... — она понизила голос, — сержант тот ещё индюк, но ты на него внимания не обращай. А Мирослава Константиновна...

Она замолчала.

— Что Мирослава Константиновна? — спросил Глеб.

Марфа посмотрела на него долгим взглядом.

— Ешь, — сказала она. — Сам увидишь.

* * *

Хозяйку он увидел через час. Она спустилась на кухню сама, что, судя по тому, как вскочила Марфа, случалось нечасто. Глеб тоже встал.

Инга Ростова была высокой, светловолосой, в сером шерстяном платье, очень простом и, видимо, очень дорогом. Она остановилась в дверях и посмотрела на него, и он вдруг почувствовал, что его рассматривают совсем не так, как рассматривали дежурные на КПП и сержант

Зотов. Те смотрели на черты. Она смотрела на него. На лицо, на плечи, на руки, на то, как он стоит.

Потом взгляд её всё-таки опустился на его левую руку. Рукав был опущен. Но она смотрела на рукав так, будто видела сквозь ткань.

— Здравствуйте, Глеб, — сказала она.

— Здравствуйте.

— Меня зовут Инга Сергеевна. Я надеюсь, Марфа Ильинична вас накормила.

— Да. Спасибо.

— Хорошо. — Она помолчала. Странно помолчала: так молчат, когда хотят что-то сказать и в последний момент передумывают. — Если вам что-то понадобится, скажите Марфе. Или мне. Не стесняйтесь.

— Хорошо.

Она ещё секунду постояла, глядя на него. Потом повернулась и ушла. На её запястьях, когда она поднимала руку к перилам лестницы, блеснули широкие серебряные браслеты.

— Ну, — сказала Марфа, когда шаги наверху стихли. — Вот это да.

— Что?

— Она сюда шесть лет не спускалась. — Марфа покачала головой и вернулась к плите. — Шесть лет, с тех пор как старая хозяйка умерла. Ну-ну.

* * *

Хозяин принял его вечером в кабинете.

Это было нарушение правила «на второй этаж нельзя», но Зотов сам отвёл его туда, по боковой лестнице, через коридор, устланный ковром таким толстым, что ноги проваливались по щиколотку. На стенах висели картины: реки, мосты, корабли. На одной Глеб узнал Мост Согласия, ещё старый, до Смуты, весь целиком, с одинаковыми пролётами. Он замедлил шаг, Зотов толкнул его в спину.

Кабинет был большой и тёплый. Камин, книги до потолка, тяжёлые шторы, письменный стол размером с кровать. Над столом лампа под зелёным абажуром. В углу, за креслом, стоял сейф, старый, зелёный, с латунной ручкой и колесом кодового замка. Глеб заметил его машинально, и тут же заставил себя не смотреть.

Константин Аркадьевич Ростов встал из-за стола, когда они вошли. Он был невысокий, ниже, чем Глеб себе представлял, худощавый, с аккуратной седеющей бородкой и в очках без оправы. Он вышел из-за стола и протянул руку.

Глеб смотрел на руку.

Это была обычная рука. Сухая, с длинными пальцами, с обручальным кольцом. Рука, которая подписала его красную черту. Рука, которая восемь лет подписывала каждый его перенос, потому что Главный регистратор подписывает все переносы своей дочери лично, так полагается. Глеб это знал. Он видел эту подпись двадцать три раза, на каждом протоколе, который зачитывали на Площади. Аккуратная, разборчивая. *К. Ростов.*

Рука висела в воздухе.

Глеб пожал её.

— Спасибо, что согласились, — сказал Ростов. — Садитесь. Сержант, оставьте нас, пожалуйста.

Зотов, кажется, хотел возразить, но промолчал и вышел. Ростов сел в кресло у камина и показал Глебу на второе. Глеб сел на край.

— Вам, наверное, странно здесь, — сказал Ростов.

— Да.

— Это понятно. — Ростов снял очки, протёр их платком и снова надел. — Я не буду говорить много. Я знаю, что вы обо мне думаете. Это тоже понятно, и я не жду, что вы перемените своё мнение за девять недель. Я хочу сказать вам только одно. Когда вы будете стоять на Мосту, на вас будут смотреть два берега. Миллион человек, может быть. И Низ будет смотреть на вас и думать: значит, можно. Значит, есть выход. Значит, моё дитя, которое пойдёт на Отбор, не обречено. Вы это понимаете?

— Понимаю.

— Это не ради меня. И не ради моей дочери, хотя для неё это тоже важно, больше, чем она сейчас думает. Это ради них. — Ростов кивнул на окно, за которым, внизу, за рекой, мерцал Низ. — Сорок лет назад на этом Мосту люди стреляли друг в друга. Мой отец там был. Он видел, как с обоих концов Моста строчили пулемёты, а посередине лежали мёртвые, и их было столько, что по ним можно было перейти реку. Это не фигура речи. Он мне рассказывал. Согласие остановило это. Статья девятая остановила. Вы можете её ненавидеть, у вас есть на это право. Но она работает.

Глеб молчал. Ростов смотрел на него, ждал. Потом слегка улыбнулся.

— Вы не согласны.

— Мне не положено соглашаться или не соглашаться, Константин Аркадьевич. Мне положено нести.

Ростов чуть приподнял брови.

— Вас хорошо учили в Лицее.

— Меня учили на Площади.

Ростов кивнул, будто это был ответ, которого он ждал, и даже, может быть, хотел. Поднялся. Разговор был окончен.

— Ещё одно, — сказал он, когда Глеб был уже удвери. — Моя дочь. Ей очень тяжело. Ей тяжело весь этот год. Она... — Он помедлил. — Она очень переживает. Из-за того мальчика. Из-за вас. Я прошу вас. Будьте с ней... — он поискал слово, — бережны. Насколько сможете.

Глеб обернулся.

— Бережен, — повторил он.

— Да.

— С ней.

— Я понимаю, как это звучит.

— Нет, Константин Аркадьевич, — сказал Глеб. — Я думаю, не понимаете.

Он вышел. Зотов ждал за дверью и смотрел на него с подозрением, и всю дорогу по коридору, мимо картин с кораблями и мостами, Глеб чувствовал спиной его бесцветный взгляд.

* * *

В девять вечера Марфа отправила его в котельную.

— Колонка опять барахлит, — сказала она. — Котёл там старый, ещё до хозяина ставили. Садовник в него лазил, только хуже сделал. Ты, говорят, с руками. Глянь.

Котельная была в подвале, в дальнем конце коридора, за чуланом с углём. Глеб спустился с фонарём, нашёл котёл, громадный, чугунный, покрытый облупленной зелёной краской, и полчаса возился с клапаном. Клапан закис. Это было просто, отец научил его этому в восемь лет. Он расходил клапан, прочистил, подтянул сальник и сел на перевёрнутое ведро, вытирая руки ветошью.

Только тогда он заметил свет.

В стене, справа от котельной, была дверь, низкая, деревянная, с щеколдой. Из-под двери пробивалась полоска красного. Не огонь. Ровный тёмно-красный свет, какой бывает от фонаря,

затянутого красным стеклом. И оттуда пахло. Резко, кисло, химически, уксусом и ещё чем-то, чего Глеб не знал.

Он смотрел на эту полоску красного и не двигался.

Потом дверь открылась.

Она стояла в проёме, освещённая сзади красным. Сначала он увидел только силуэт: невысокая, тонкая, в чём-то тёмном и длинном, с волосами, собранными на затылке. Потом она шагнула в коридор, в жёлтый свет его фонаря, и он увидел лицо.

Он тысячу раз представлял себе это лицо. На Горе, ночами, лёжа на нарах и слушая, как кашляет барак. Он представлял его красивым и пустым, как у девушек на плакатах про Юбилей. Или надменным. Или пьяным, с размазанной помадой, хохочущим из окна машины. Он даже не думал, что это лицо может быть каким-то другим.

Оно было бледным. Острым, с тёмными бровями и тёмными кругами под глазами, как у человека, который давно не спит. Губы сжаты. Глаза большие, серые, мамины, понял он, глаза Инги Сергеевны, только без её спокойствия. На ней был чёрный свитер, старый, растянутый, с рукавами до кончиков пальцев. Она держала рукава кулаками.

Она смотрела на него. Он смотрел на неё.

— Ты, — сказала она.

Голос у неё оказался низкий, чуть хрипловатый, не такой, как он думал.

— Я, — сказал Глеб. Встал с ведра. — Котёл. Марфа Ильинична просила посмотреть.

— Я знаю, кто ты.

— Вы знаете, что на мне, — сказал Глеб. — Это не одно и то же.

Она вздрогнула, как будто он её ударил. Он увидел это и почувствовал что-то, похожее на удовлетворение, и сразу же ему стало противно от этого чувства, и он отвёл глаза.

— Я хотела... — начала она.

— Не надо.

— Ты даже не знаешь, что я...

— Знаю. Вы хотели извиниться. — Он аккуратно сложил ветошь и положил её на край котла. — Мне не нужны ваши извинения, Мирослава Константиновна. Правда. Не тратьте их на меня. Мне нужно, чтобы через девять недель вы пожали мне руку на Мосту и не перепутали, какую. И всё.

Она смотрела на него, и он видел, как у неё дрожит подбородок, и как она сжимает зубы, чтобы он не дрожал.

— Не называй меня так, — сказала она.

— Как прикажете.

— Я не приказываю!

— Вам не нужно приказывать, — сказал Глеб. — Вам достаточно сказать.

Тишина. Котёл за его спиной тихо загудел, набирая давление. Где-то наверху, над потолком, прошла Марфа: её тяжёлые шаркающие шаги, звон посуды.

Мира стояла в дверях своей красной комнаты, и красный свет падал ей на плечи, и он подумал, что она сейчас уйдёт, хлопнет дверью, побежит к отцу жаловаться. Он почти хотел этого. Это было бы понятно.

Она не ушла.

— Сколько тебе лет? — спросила она.

Он не ожидал этого вопроса.

— Семнадцать. В марте восемнадцать.

— Мне в декабре. — Она помолчала. — Значит, ты меня старше.

— На восемь месяцев.

— Я не знала, — сказала она. — Я ничего про тебя не знаю. Только адрес. И что ты из Лицея. Мне никогда ничего про тебя не говорили. Ни как ты выглядишь, ни... Я даже не знала, что ты высокий.

— Это важно?

— Нет. Не знаю. — Она вдруг отпустила один рукав, подняла руку и потёрла лоб, и он увидел на секунду её запястье, тонкое, белое, с голубой веной. Чистое. Она увидела, что он видит, и тут же снова натянула манжету на пальцы. — Я весь год думала, какой ты. Я думала, что ты меня ненавидишь.

— А это важно?

Она подняла глаза.

— Да, — сказала она. — Это важно.

Глеб взял фонарь.

— Котёл работает, — сказал он. — Горячая вода будет к утру. Спокойной ночи.

Он прошёл мимо неё по коридору, к лестнице. Она посторонилась, прижавшись к стене, чтобы не коснуться его, и он почувствовал запах уксуса и чего-то ещё, тонкого, цветочного, от её волос. Он поднимался по ступенькам и думал, что она сейчас скажет что-нибудь ему в спину. Она не сказала.

Только когда он был уже наверху, у двери на кухню, он услышал, как внизу тихо закрылась дверь и щёлкнула щеколда.

* * *

В гладильной было узко и прохладно. Кровать, полка, табуретка, гвоздь в стене для одежды. Под потолком маленькое окно, выходящее в сад. Глеб встал на табуретку, открыл его, и в комнату вошёл ночной воздух, пахнущий яблоками и рекой.

Из окна был виден угол дома и одно освещённое окно на втором этаже. Кабинет. За шторой, в свете зелёной лампы, ходил человек. Туда и обратно. Туда и обратно. Остановился у стола, наклонился, выпрямился. Отошёл в угол, туда, где стоял сейф. Постоял. Вернулся.

Глеб смотрел на это окно долго, пока свет не погас.

Там было твоё имя, сказала Тума.

Он лёг на кровать, не раздеваясь, закинул руки за голову и смотрел в потолок. Потолок был белёный, в трещинах. Одна трещина шла от угла до середины, ровная, длинная, а потом разветвлялась на три тонкие, как река в дельте. Как Ладь у Устья, на старых картах, до того, как её спрямили.

Он думал о сейфе с латунной ручкой. О лице в красном свете. О том, что она сказала: «Это важно».

Он не понимал, почему это было важно. Это его злило больше всего.

Глава 4. Двадцать три

Четыре дня Мира наблюдала за ним из окон.

Она не собиралась этого делать. Она решила в первую же ночь, после котельной, что больше не будет к нему подходить. Он ясно сказал, чего хочет: чтобы она пожала ему руку на Мосту и больше ничего. Хорошо. Это она могла. Она будет пожимать ему руку на репетициях, улыбаться в камеры, а в остальное время её не будет. Она умела, чтобы её не было. Она год этому училась.

Но дом был не такой большой, как ей казалось раньше.

Он колол дрова на хозяйственном дворе, и стук топора был слышен в её комнате. Он носил уголь в котельную, и она слышала, как скрежещет лопата за стеной тёмной комнаты. Он чинил калитку, перекладывал дорожку у кухни, лазил на крышу сарая менять шифер. Он делал всё молча, быстро и аккуратно, как будто занимался этим всю жизнь, и Мира, стоя за занавеской в коридоре второго этажа, ловила себя на том, что смотрит на его руки. Длинные, худые, со сбитыми костяшками. На правой ладони был шрам, белый, неровный, от основания пальцев до запястья. Она видела его, когда он снимал рукавицы.

Левый рукав он никогда не закатывал. Даже когда работал. Даже в полдень, когда во дворе было тепло и садовник, старик Прохор, ходил в одной майке.

На четвёртый день, в четверг, Марфа послала его в оранжерею.

* * *

Оранжерея стояла в дальнем конце сада, за яблонями. Её построил дед, Аркадий Ростов, для бабушки, которая выращивала там лимоны и какие-то южные лилии с тяжёлым запахом. После бабушкиной смерти лимоны засохли, лилии никто не пересаживал, и оранжерея медленно приходила в запустение: стёкла трескались, рамы гнили, вьюнок пролезал внутрь сквозь щели и душил то, что ещё оставалось живого. Мира в детстве любила там прятаться. Внутри всегда было тепло, даже зимой, и пахло землёй.

Она принесла чай.

Это было глупо, и она знала, что это глупо, ещё когда наливала его на кухне, и Марфа смотрела на неё из-за плиты с таким выражением лица, что Мира чуть не поставила кружку обратно. Она не поставила. Она взяла кружку, большую, фаянсовую, с отбитой ручкой, ту, из которой пила прислуга, и пошла через сад, по мокрой от росы траве, и только у самой двери оранжереи подумала, что держит её двумя руками, как держат что-то, чем собираются защищаться.

Он стоял на стремянке и вынимал из рамы треснувшее стекло. Он был без куртки, в одной рубашке, и рубашка была старая, застиранная, с заплатой на локте. Оба рукава были закатаны до локтей.

Он услышал её шаги, обернулся и замер.

Мира смотрела на его левую руку.

Она видела черты на руках других людей много раз. У садовника Прохора, у Марфы, у шофёра, у цветочницы у Моста, которую она снимала в прошлом месяце. На Верху все их видели, просто не смотрели, как не смотрят на костыли или на родимое пятно на чужом лице. Но она никогда не видела таких.

Они начинались у самого запястья и шли вверх, ровным столбиком, почти до середины предплечья. Тонкие линии, каждая с палец шириной, параллельные, аккуратные, как строчки в тетради. Нижние побледнели и расплылись, кожа вокруг них была чуть светлее. Верхние были

чёткие, тёмные, почти синие. И две из них были красные. Одна в середине столбика, тусклая, рыжеватая, как засохшая глина. Другая на самом верху. Яркая. Как свежая царапина.

Он медленно спустился со стремянки, не опуская рукава.

— Смотрите, — сказал он. — Это ваше.

Мира поставила кружку на ящик с землёй. Руки у неё дрожали, и чай плеснул через край.

— Можно? — спросила она.

Он не ответил. Просто вытянул руку вперёд, запястьем вверх, как вытягивают на КПП.

Она подошла. Он был выше её на голову, и ей пришлось наклониться, чтобы рассмотреть, и она почувствовала его дыхание у себя на макушке. Она не дотрагивалась. Она смотрела. Самая нижняя черта, у самого запястья, была совсем бледная, почти растворившаяся в коже.

— Окно, — сказала Мира. — В гимназии. Мне было десять. Мальчики сказали, что я не докину камень до третьего этажа. Я докинула.

Он молчал.

— Шоколад, — сказала она, глядя на вторую. — В «Пассаже». Плитка с орехами. Соня сказала, что я не посмею. Я посмела. Мне его даже есть не хотелось, я его потом в реку бросила.

Третья.

— Мадемуазель Ренье. Гувернантка. Я её укусила. За палец. До крови. Она не пускала меня на каток, потому что я не доделала французский. Мне было одиннадцать. Её потом уволили. Не за палец, а за то, что не уследила за мной.

Четвёртая. Пятая. Она шла вверх по столбику и говорила, тихо, ровно, и голос у неё был совсем чужой. Двое суток, когда она сбежала из дома, потому что мать не пришла на её концерт в музыкальной школе. Она тогда ночевала на даче у Летовых, в лодочном сарае, и никто её не искал до второго утра. Подпись отца на табеле. Прогулы, три дня подряд, одной чертой: весной она ездила с мальчиками на острова. Лодка. Чужая моторная лодка у причала яхт-клуба, которую они с Артёмом угнали и утопили на мели. Учитель истории, которого она назвала при всём классе крысой, потому что он сказал, что Смута была «необходимым очищением». Драка с Верой Сабуровой из параллельного класса, за то, что та назвала её маму выскочкой.

Десятая. Красная. Рыжая, выцветшая.

Мира замолчала.

— Оранжерея, — сказал он за неё. — В гимназии. Поджог.

— Да.

— Мне было четырнадцать. — Его голос был таким же ровным, как её. — Три месяца Исправительного двора. Это на Сортировке, бывшее депо. Там держат тех, кому меньше шестнадцати. Тех, кому больше, уже на Гору.

— Я знаю, где это.

— Вы знаете, что там делают с новенькими?

Мира подняла глаза. Он смотрел не на неё, на стекло оранжереи, мутное, в потёках.

— В первую ночь, — сказал он, — ломают два пальца. Не за что-то. Просто так принято. Старшие ломают младшим, чтобы те знали. Мне сломали мизинец и безымянный. На левой. Они срослись криво, видите?

Он пошевелил пальцами. Мизинец и безымянный и правда были чуть искривлены, отогнуты в сторону, как у человека, который много лет играл на чём-то неудобном. Мира смотрела на них и чувствовала, как у неё внутри что-то медленно, тяжело проворачивается, как ключ в ржавом замке.

— Зачем вы её подожгли? — спросил он.

Она не ответила сразу. Она никогда никому этого не говорила. Ни Соне, ни отцу, ни директору, который три часа сидел у них в гостиной. Отец тогда заплатил за новую оранжерею, больше и лучше прежней, и ещё за новый кабинет ботаники, и гимназия устроила благодарственный вечер в его честь. Никто так и не спросил её, зачем.

— Я хотела, чтобы меня наказали, — сказала Мира.

Он повернул голову.

— Я хотела, чтобы кто-нибудь наконец... — Она остановилась. Начала снова. — Мне было четырнадцать. Я была ужасная. Я всё делала назло. Я разбивала, крала, кусалась, сбегала, и никто ни разу мне ничего не сделал. Ни разу. Ни папа, ни мама, никто. Мама говорила: «Мирослава, это некрасиво». Папа говорил: «Я поговорю с Реестром». И всё. Как будто меня нет. Как будто что бы я ни сделала, это не считается. Я подумала: если я сделаю что-то очень большое, по-настоящему большое, они наконец... не знаю. Посмотрят. Заметят. Накажут. Хоть кто-нибудь. — Она засмеялась, коротко и некрасиво. — И меня наказали. Только не меня.

Он долго молчал. Потом сказал:

— В Исправительном дворе спят на полу. Там нет кроватей. Там бетон, и зимой с него поднимается холод, и к утру не чувствуешь ног. Я там понял одну вещь. Хотите знать какую?

— Да.

— Что вы обо мне ничего не знаете, — сказал он. — И никогда не будете знать. И что так задумано.

Мира кивнула. Она не могла говорить. Она снова опустила глаза на его руку и пошла дальше, вверх, по столбику, потому что не могла остановиться, потому что если она сейчас остановится, то никогда больше на это не посмотрит.

Курение на крыше гимназии. Купание у плотины, где купаться было нельзя, потому что там затягивает под шлюз. Витрина кондитерской на Соборной, которую она разбила, потому что ей было скучно. Краска на памятнике Согласию, на голове у бронзового рабочего, жёлтая краска, ночью. Ложный вызов пожарных в гимназию, чтобы сорвать экзамен по алгебре. Ещё один прогул. Чужой велосипед, который она увела от ограды гимназии и утопила в фонтане. Сержант СП на Соборной площади, которому она при всех сказала, что у него лицо как у варёной рыбы.

А потом четыре черты подряд, одна за другой, совсем близко друг к другу, свежие, тёмные.

— Это...

— Низовки, — сказал он. — Нарушение комендантского часа. Одна черта за каждую ночь, когда вы переезжали Мост после десяти.

— Четыре, — сказала Мира. — Я ездила четыре раза. Летом. С Соней и с... Артёмом. Мы ездили смотреть на костры у пристани. Там было весело. — Она запнулась. — Я не знала, что за это ставят черту. Честное слово. Я не знала.

— Знали, — сказал он спокойно. — Все знают. Все верхние подростки знают. Просто это неважно.

Она хотела возразить и не смогла. Он был прав. Она знала. Она знала так, как знают про Землю, которая круглая: знают и никогда не думают.

Она подняла глаза к последней черте. К красной. Самой верхней, яркой, припухшей по краям.

— А эту я не помню, — сказала она.

Его рука напряглась. Совсем чуть-чуть, она почувствовала это, хотя не касалась его. Как будто воздух вокруг его руки стал плотнее.

— Вы её не помните, — повторил он.

— Я не помню, как это было. Я помню, как мы поехали. Я помню шампанское. Помню, как меня укачало. А потом я проснулась дома. Мне сказали, что я была за рулём. Что я сама попросила. Что я...

Она замолчала, потому что он медленно опустил рукав.

Он сделал это очень аккуратно, разгладил ткань, застегнул манжету на пуговицу. Потом взял с ящика рукавицы, надел их и полез обратно на стремянку.

— Глеб, — сказала Мира. Первый раз назвала его по имени. Слово было непривычное во рту, твёрдое, как камешек. — Подожди. Пожалуйста.

Он остановился на второй ступеньке. Не обернулся.

— Я тебе хочу сказать. Про Севу. Я...

— Не надо.

— Я каждый месяц посылаю деньги его матери. Я знаю, что это ничего не исправит, я не дура. Но я не знаю, что ещё...

— Не надо, — повторил он. Голос у него стал тише. — Пожалуйста. Не говорите со мной про Севу. Вы его не знали. Вы не знаете, какой он был. Вы не знаете, как он смеялся, что он любил, о чём мечтал. Вы знаете только, что он выскочил перед вашей машиной. Вот и не говорите о нём. Ни мне, ни кому. Это не ваше.

Мира стояла внизу и смотрела ему в спину.

— Это моё, — сказала она тихо. — Только это и моё.

Он ничего не ответил. Он поднял руки, вставил новое стекло в раму, прижал его ладонями и стал промазывать замазкой по краю, медленно, ровно, проводя большим пальцем. Мира постояла ещё немного. Потом пошла к выходу.

— Чай, — сказал он ей в спину.

Она обернулась.

— Вы чай забыли.

— Это тебе.

Он посмотрел на кружку на ящике, на отбитую ручку, на мутный чай с плавающей чаинкой. Потом на неё.

— Спасибо, — сказал он.

* * *

Белецкие пришли к ужину в семь.

Это было условлено давно, ещё до всякого Юбилея: каждый последний четверг месяца Белецкие ужинали у Ростовых, а каждый второй Ростовы у Белецких. Так было всю Мирину жизнь. Она помнила эти ужины с тех пор, как её сажали на высокий стул и давали ложку, и Артём, тогда пятилетний, корчил ей рожи через стол, а взрослые разговаривали о вещах, которые она не понимала.

Сегодня она понимала всё.

Пётр Андреевич Белецкий, Председатель Совета Попечителей, сидел справа от отца и рассказывал о Юбилее. Он был крупный, широкоплечий, загорелый, с густыми седыми волосами и громким весёлым голосом, и когда он смеялся, звенели бокалы на столе. Его все любили. Его любил Низ, где он каждую зиму открывал бесплатные столовые и где на стенах висели его портреты, улыбающиеся, в рабочей кепке. Его любил Верх. Его любила мама, которая в его присутствии всегда становилась чуть прямее и чуть тише. Мира когда-то его тоже любила. Он катал её на плечах и звал «Мирочка-дырочка».

Рядом с ним сидела его жена, Елена, маленькая, с кукольным лицом, которая почти ничего не говорила. Напротив Артём. А на конце стола, рядом с Мирой, младший Белецкий, Никита. Ему было девять. К Юбилею ему исполнялось десять.

Подавал Глеб.

Мира узнала об этом, только когда он вошёл в столовую с супницей, в белой куртке официанта, которую ему, видимо, выдала Марфа, с опущенными рукавами, застёгнутыми на пуговицы. Отец поднял глаза и ничего не сказал. Мама не подняла глаз. Мира почувствовала, как у неё горит лицо.

— О, — сказал Артём. — Это и есть...

— Это Глеб, — сказал отец ровно. — Он помогает нам по дому до Юбилея.

— Да я знаю, знаю. — Артём откинулся на стуле и разглядывал Глеба с весёлым любопытством. — Мирина спина. Легендарная. Двадцать три штуки, говорят, а?

Глеб наливал суп в тарелку Елены Белецкой. Половник не дрогнул.

— Артём, — сказал Пётр Андреевич, и сказал так добродушно, что это было почти не замечание. — Что за манеры.

— Да что я сказал? Я комплимент! — Артём засмеялся. — Нет, правда, уважаю. Мне б такую спину. У меня была никакая, худосочная. Её на Гору отправили в шестнадцать, она там через полгода и кончилась, от лёгких. Пришлось новую назначать, а новая ленивая была. Я потом её даже не видел ни разу.

— Артём! — сказала Елена тонко.

— Что, мам?

Глеб наливал суп в тарелку Миры. Она смотрела на его руки. Половник, тарелка, суп. Ровно, аккуратно, ни капли мимо. Его лицо было совершенно спокойным, вежливым, пустым, как у фарфоровой статуэтки.

— Спасибо, — сказала Мира.

Он не ответил. Пошёл дальше, к Никите.

— А у меня тоже будет спина? — спросил Никита, глядя на Глеба снизу вверх.

— Будет, родной, — сказал Пётр Андреевич. — На Юбилей. Тебе как раз исполнится десять, и тебе назначат поручителя. Прямо на Мосту, при всех. Это будет большая честь.

— А какой?

— Хороший. Самый лучший. Из Отбора.

— А он тоже будет такой высокий?

Елена засмеялась. Пётр Андреевич засмеялся. Даже отец улыбнулся. Никита, довольный, что всех рассмешил, болтал под столом ногами.

Глеб налил ему суп и отошёл к буфету.

Ужин тянулся. Говорили о Юбилее, о речи Председателя, о новом мосте через Протоку, который давно собирались строить и всё не строили, о ценах на уголь, о забастовке на Сукональне в прошлом месяце, которую «уладили». Мира почти не ела. Глеб уносил тарелки и приносил новые, наливал вино, подавал хлеб, и она видела, как Артём следит за ним. Весело, лениво, с тем выражением, с каким он в детстве смотрел на лягушек в пруду на даче, прежде чем начать бросать в них камни.

Когда подали жаркое, Артём протянул бокал.

— Налей-ка.

Глеб подошёл с графином. Наклонился. Налил.

Артём повернул бокал в руке, как будто хотел посмотреть вино на свет, и бокал наклонился, и красное вино плеснуло на белый рукав Глеба. Широко, щедро, от запястья до локтя.

— Ой, — сказал Артём. — Прости. Рука дрогнула.

Глеб посмотрел на рукав. На ткани расплывалось пятно, тёмное, как кровь.

— Ничего, — сказал он.

— Да нет, ты что. Испортил тебе куртку. — Артём покачал головой с преувеличенным сожалением. — Ты закатай, а то испачкаешь всё. Ну давай, закатай, не стесняйся. Мы тут все свои. Все знаем, что там.

В столовой стало тихо.

Мира смотрела на отца. Отец смотрел в тарелку. Мама смотрела на Артёма, и лицо у неё было белое и неподвижное, и её пальцы на скатерти медленно сжимались. Пётр Андреевич смотрел на Глеба, весело, с интересом, ожидая.

Глеб поставил графин на стол.

— Я лучше переоденусь, — сказал он вежливо. — Чтобы не испачкать скатерть.

Он повернулся и вышел. Дверь за ним закрылась тихо, без стука.

— Тём, ну ты и... — сказал Пётр Андреевич и засмеялся. — Ну что за ребёнок. Константин, прости его. Это я виноват, избаловал.

— Ничего, — сказал отец.

Мира встала.

— Мира, — сказала мама.

— Я не голодна. — Голос у неё был спокойный. Она сама удивилась, какой спокойный. — Простите, Пётр Андреевич. Елена Викторовна. У меня болит голова.

Она вышла, не оглядываясь. За дверью она прислонилась к стене и закрыла глаза. Сердце колотилось так, что было больно.

Она хотела вернуться и выплеснуть Артёму в лицо всё, что было в графине. Она хотела вылить ему на голову супницу. Она хотела ударить его, так, как не била никого с четырнадцати лет. Она стояла у стены, сжимая кулаки в рукавах, и думала об этом очень отчётливо, со всеми подробностями. Как он заорёт. Как у него с волос будет стекать.

А потом она подумала: черта.

Нанесение оскорбления действием. Чёрная. Может быть, красная, если отец Артёма захочет. Двадцать четвёртая. На руке, которая сейчас где-то на кухне застирывала винное пятно на белом рукаве.

Она разжала кулаки.

* * *

Он был на кухне один. Марфа ушла наверх подавать десерт, и на кухне было тихо, только капала вода из крана в медную раковину. Он стоял у раковины без куртки, в рубашке, и застирывал рукав куском хозяйственного мыла. Левый рукав рубашки был тоже закатан. Вино промочило насквозь.

Он услышал её и не обернулся.

— Прости, — сказала Мира. — За него.

— За него не надо. — Он тёр пятно. — Он за себя сам.

— Он никогда ни за что сам.

Глеб перестал тереть. Помолчал.

— Это вы верно, — сказал он.

Мира подошла к столу, села на лавку, где обычно сидела прислуга. Дубовая столешница была исцарапана ножами, и она провела пальцем по одной из царапин, длинной, глубокой, оставленной кем-то, может быть, ещё в дедовские времена.

— Я хотела его ударить, — сказала она. — Только что. За дверью. Я стояла и думала, как я его ударю.

— И?

— И подумала, что это будет твоя.

Он повернулся. Посмотрел на неё. В первый раз за всё время он смотрел на неё не мимо, не поверх, а прямо, и она увидела, что глаза у него серые, как у неё, только темнее, и что под ними такие же круги.

— Двадцать четвёртая, — сказал он.

— Да.

— Вы так раньше думали? Когда-нибудь?

Мира покачала головой.

— Никогда. Я никогда раньше так не думала. Ни разу за всю жизнь. — Она смотрела на свои руки на столе, на рукава. — Я сейчас поняла. Там, за дверью. Что я даже заступиться за тебя не могу. Что если я за тебя заступлюсь, тебе за это поставят черту. Что всё, что я делаю...

— она запнулась, — всё, что я делаю, я делаю тобой. Твоей рукой. Даже хорошее. Даже если я хочу как лучше.

Он долго молчал. Вода капала из крана. Наверху смеялся Пётр Андреевич, раскатисто, весело, и звенели бокалы.

— Знаете, — сказал Глеб наконец, — у нас в Лицее был учитель. Старый, ещё до Смуты учился. Он нам говорил, что статья девятая самая умная статья в Согласии. Мы спрашивали: почему? Он говорил: потому что она делает с людьми то, чего не может сделать ни одна тюрьма. Она отнимает у них руки. И у тех, и у других. Поручитель не может ничего сделать, потому что его руки заняты чужим. А подопечный не может ничего сделать, потому что у него рук нет вообще. Всё, что он сделает, сделает кто-то другой.

— Его уволили?

— Его отправили на Гору, — сказал Глеб. — За оскорбление Согласия. Своё. У него не было подопечного.

Мира смотрела на него.

— Что мне сделать? — спросила она.

— Ничего.

— Глеб.

— Ничего, — повторил он, и в его голосе была какая-то усталость, очень старая, которой она не понимала. — Правда. Ничего не делайте. Не бейте его. Не заступайтесь за меня. Не носите мне чай. Не говорите со мной про Севу. Через девять недель пожмёте мне руку на Мосту, и всё. Мне больше ничего от вас не нужно, Мирослава Константиновна. Самое лучшее, что вы можете для меня сделать, это ничего не делать.

Он отвернулся к раковине и снова взялся за рукав.

Мира посидела ещё минуту. Потом встала и пошла к двери. У двери она остановилась.

— Ты всё время говоришь «вы», — сказала она.

— Так положено.

— Мне не нравится.

— Это неважно.

— Мне важно, — сказала Мира. — Я тебе говорю «ты». А ты мне «вы». Как будто я... как будто меня тут нет. Как будто вместо меня стоит какой-то лист в серебряной папке.

Он не обернулся. Но рука с мылом остановилась.

— Хорошо, — сказал он после паузы, очень тихо. — Спокойной ночи, Мира.

Она вышла.

* * *

Ночью, сидя на полу своей комнаты под лампой, она достала из ящика новую тетрадь в чёрной клеёнчатой обложке, которую купила весной и так и не начала. Открыла на первой странице. Подумала. Написала сверху крупными буквами: *ЧТО СТОИЛО*.

Потом, ниже, по порядку, одну за другой, все двадцать три.

1. Окно в гимназии. Мне 10. Ему 10.

Она остановилась. Она не знала, что стоило окно. Она не знала, что стоил шоколад. Она знала только про оранжерею: два пальца, бетонный пол, три месяца. И про последнюю. Год на Горе. Известь в лёгких.

Она оставила справа от каждой строчки пустое место.

Она решила, что заполнит его. Даже если на это уйдут все девять недель.

Глава 5. Оглашение

По субботам после обеда ему разрешалось уходить домой.

Это было в договоре о восстановительной службе, мелким шрифтом, в пункте седьмом: *поручитель имеет право на еженедельное посещение семьи с 13:00 субботы до 20:00 воскресенья при условии регистрации на КПП*. Зотов прочитал ему этот пункт вслух, медленно, с таким видом, будто лично его составлял и лично был против. Потом выдал пропуск, проштампованный на два дня, и сказал: «Опоздаешь на минуту, и я пишу рапорт. Понял?»

Глеб понял.

Он перешёл Мост в половине второго. Ветер был сильнее, чем на прошлой неделе, и экран посреди Моста хлопал на тросах, как бельё. На помосте под ним уже стояли перила, и рабочие красили их в белый цвет. Надпись на экране днём не горела, но Глеб и так знал, что там: *ДО ЮБИЛЕЯ 66 ДНЕЙ*. Он считал.

На нижнем КПП его ждала Лиза.

Она стояла у будки, в старой материнской кофте, подвёрнутой на рукавах, и держала в руках бумажный кулёк. Когда она его увидела, она не побежала. Она подождала, пока он пройдёт проверку, пока дежурный посмотрит на его рукав и шлёпнет печатью, и только потом подошла, чинно, как взрослая, и протянула кулёк.

— Это тебе. Семечки. Я сама жарила.

— Спасибо. — Он взял кулёк. Семечки были горячие, пересоленные и немного подгоревшие. — Вкусные.

— Врёшь. Они горелые. — Лиза взяла его под руку, так, как мама брала под руку отца, когда они ходили гулять на набережную. — Пойдём на Площадь. Там сегодня Оглашение.

— Зачем нам на Площадь?

— Потому что суббота, — сказала Лиза, будто это всё объясняло. — Все идут.

* * *

Площадь Оглашений была когда-то рынком.

Ещё до Смуты здесь торговали рыбой, мукой, мочёными яблоками, лаптями, гармошками, всем, что можно было привезти по реке. От тех времён осталась мостовая, старая, горбатая, и чугунные столбы с крюками, на которых раньше висели весы. Торговые ряды разобрали после Согласия, а на месте рыбного ряда построили помост: деревянный, на сваях, крашенный в зелёный цвет, с навесом от дождя и с длинным столом под навесом. На столе стояли чернильница, графин с водой и машинка.

Машинка была похожа на маленькую швейную. Чёрная, лакированная, с латунной иглой и с двумя стеклянными флаконами по бокам: в одном чёрная тушь, в другом красная. От машинки тянулся провод к аккумулятору под столом. Глеб видел её сто раз, и каждый раз, когда видел, у него начинало ныть левое запястье. Не больно. Просто ныло, тихо, как ноет старый перелом к перемене погоды.

Народу было много. В Затоне по субботам не работала Сукновальня, и на Площадь приходили все: женщины с детьми, старики, рабочие с Сортировки в промасленных куртках, лицеисты в серой форме. Стояли тихо. На Оглашениях всегда было тихо. Здесь не кричали, не свистели, не ругались, даже дети. Здесь просто стояли и смотрели.

Ефим Лукич сидел за столом и протирал иглу ваткой.

Ему было, наверное, лет восемьдесят. Маленький, сухой, лысый, с белыми усами и в круглых очках на верёвочке. Он был метчиком в Затоне с первого года Согласия. Сорок лет.

Говорили, что он нанёс больше черт, чем в Низу живёт людей. Говорили, что он помнит каждую. Глеб в это не очень верил, а потом, когда ему было одиннадцать и он стоял на помосте в третий раз, Ефим Лукич взял его за руку, посмотрел на запястье и сказал: «Это ж ты окно разбил? В гимназии, камнем. Помню, помню. Хороший бросок был», и подмигнул. Глеб тогда чуть не засмеялся, на помосте, при всех.

Рядом с Ефимом Лукичом сидел секретарь Реестра. Молодой, в сером костюме, с папкой. Секретари менялись каждые полгода. Ефим Лукич оставался.

— Смотри, — шепнула Лиза. — Вон Даша.

Глеб посмотрел. У помоста, в первом ряду поручителей, стояла девочка лет пятнадцати. Невысокая, рыжая, в лицейской форме, с косой до пояса. Он её смутно помнил: Даша Ковригина, с Песков, из младшего класса. У неё была мама-прачка и трое младших братьев.

— Она красную получит, — сказала Лиза. — Все говорят. Её подопечный, сын судьи Арсеньева, избил кого-то. На Верху. В ресторане. Сломал челюсть.

— Откуда ты знаешь?

— Все знают.

Секретарь встал и открыл папку.

Оглашение шло так же, как шло всегда. Секретарь читал имя подопечного, проступок, имя поручителя, взыскание. Поручитель поднимался на помост, закатывал рукав, протягивал руку. Ефим Лукич брал её, включал машинку, машинка жужжала секунд двадцать, иногда тридцать. Потом секретарь спрашивал: «Принимаешь ли ты взыскание как своё?» Поручитель говорил: «Принимаю как своё». И спускался.

Первым был мальчик с Сортировки. Чёрная, за разбитый фонарь. Потом девушка с Кирпичной, Глеб её знал, она училась на класс старше. Чёрная, за опоздание к комендантскому часу. Потом сразу двое, близнецы Ведерниковы, поручители близнецов Сабуровых, чёрные обоим, за драку между собой. В толпе кто-то хмыкнул. Подопечные подрались друг с другом, а черту поставили двум другим людям, которые в жизни не ссорились.

Потом Даша.

— Подопечный: Арсеньев Владислав Игоревич, пятнадцать лет. Проступок: нанесение тяжких телесных повреждений. Потерпевший: Мельников Олег Петрович, официант ресторана «Кристалл», Верх, двадцать три года. Перелом челюсти, сотрясение мозга. Поручитель: Ковригина Дарья Сергеевна, пятнадцать лет, Пески. Взыскание: черта красная. Исправительный двор, шесть месяцев.

В толпе кто-то тихо охнул. Мать Даши, маленькая женщина в синем платке, стояла у самого помоста и держала за руки двух младших мальчиков. Она не охнула. Она смотрела на дочь.

Даша поднялась по ступенькам. Глеб видел, как у неё трясутся колени, видел, как она пытается закатать рукав и не может справиться с пуговицей. Ефим Лукич встал, сам расстегнул ей манжету, сам закатал рукав, медленно, бережно. Что-то сказал ей тихо, неслышно. Даша кивнула. Он посадил её на табуретку рядом с собой, взял её руку, положил на подушечку, обтянутую клеёнкой, и включил машинку.

Машинка зажужжала.

Красную ставили дольше. Линия должна была быть шире и глубже, и тушь ложилась медленнее, и Глеб знал, как это. Сначала жжёт. Потом кажется, что игла уже не на коже, а внутри, в кости. Потом ничего не кажется, только звук, этот ровный зудящий звук, от которого сводит зубы. Даша сидела очень прямо, глядя перед собой, и по её щекам текли слёзы, и она их не вытирала, потому что обе руки были заняты: одна лежала на подушечке, а другой она держалась за край стола.

Тридцать секунд. Сорок. Минута.

Машинка замолчала.

— Поручитель Ковригина, — сказал секретарь. — Принимаешь ли ты взыскание подопечного как своё?

Даша открыла рот. Ничего не вышло. Она закрыла рот, сглотнула и попробовала снова.

— Принимаю, — прошептала она.

— Громче, пожалуйста.

— Принимаю как своё!

Это вышло почти криком, сорванным, и площадь вздрогнула. Ефим Лукич наклонился и что-то снова сказал ей. Она кивнула, встала, и спустилась по ступенькам, держа руку на весу, и мать её обняла, и они ушли, вчетвером, сквозь расступившуюся толпу.

Глеб стоял и смотрел на помост.

Шесть месяцев Исправительного двора. В первую ночь два пальца. Он подумал, что надо найти кого-нибудь из тех, кто сейчас на Дворе, передать, чтобы Дашу не трогали. Он знал пару человек, которых туда недавно отправили. Можно было бы через Шмеля. Потом он подумал, что всё равно тронут. Там всех трогают. Потом подумал о сыне судьи Арсеньева, который сейчас, наверное, спит у себя дома на Верху, после обеда, а завтра получит Извещение, что «лист остаётся чист», и, может быть, даже не дочитает его до конца.

— Глеб, — сказала Лиза. — Ты мне руку сжимаешь.

Он разжал пальцы.

— Извини.

— Ничего. — Лиза посмотрела на него снизу вверх. — Тебе так же ставили? Красную?

— Так же.

— Ты плакал?

— Нет.

— А ей можно было плакать?

— Можно. Всем можно.

Лиза подумала.

— А я не буду плакать, — сказала она серьёзно. — Когда мне будут ставить. Я решила. Я буду как ты.

Глеб посмотрел на неё.

— Лиз.

— Что?

— Тебе не будут ставить.

— Будут, если меня возьмут на Отборе. — Она пожала плечами. — Мама говорит, меня возьмут. Говорит, я умная. И ещё что я из поручительской семьи, и это считается. Нам тогда паёк дадут, и комнату на Кирпичной, на втором этаже, где окно в сад. И я пойду в Лицей, как ты. И буду учить математику. Я же люблю математику.

— Тебя не возьмут.

— Почему?

— Потому что мы переедем на Верх. После Юбилея. Там нет Отбора.

Лиза смотрела на него долго, с тем новым взрослым недоверием в глазах, которого он не помнил у неё год назад.

— А если не переедем? — спросила она.

* * *

Они шли с Площади, и толпа расходилась вокруг них, и Глеб понял, что на него смотрят.

Он не сразу это заметил. Сначала просто чувствовал взгляды, как чувствуешь сквозняк. Потом стал замечать лица. Женщина у колонки, которая перестала качать воду и проводила его глазами. Двое рабочих с Сортировки, которые замолчали, когда он проходил мимо, и снова

заговорили, когда он прошёл. Старуха на скамейке у бывшей рыбной лавки, которая наклонилась к соседке и что-то сказала ей на ухо, и соседка посмотрела на Глеба, и покачала головой.

— Ростовский, — сказал кто-то за спиной. Не громко. Так, чтобы было слышно.

Глеб не обернулся.

— Это ж он? Ростовская спина? Которого на Юбилей?

— Он.

— Признание, говорят, дадут. Голос.

— За что?

— А за то, что Севку Кравца не забыл, ага. Помнишь, как он сказал «как своё»? Вот теперь своё и получит.

Кто-то засмеялся.

Лиза остановилась так резко, что Глеб чуть на неё не налетел. Она обернулась. За ними шли трое: двое парней лет двадцати и девушка, все с Песков, в рабочих куртках. Глеб знал одного из них по Лицею, Гришку Сомова, который бросил учёбу в четырнадцать, когда его подопечный уехал учиться за границу и поручительство кончилось раньше срока.

— Вы чего? — сказала Лиза. Голос у неё звенел. — Вы чего сейчас сказали?

— Лиз, пошли.

— Нет! — Лиза вырвала руку. — Он за неё год на Горе сидел! Он двадцать три черты носит! А вы что носите?

Гришка Сомов посмотрел на неё сверху вниз и сплюнул на мостовую, рядом с её ботинком.

— Я свою одну, — сказал он. — И мне никто за неё на Верху квартиру не даст. А брату твоему дадут. Знаешь, почему? Потому что он умеет пожимать руки. — Он перевёл взгляд на Глеба. — Ты ей правда руку пожмёшь, Ярцев? Той, которая Севку? На Мосту?

Глеб молчал.

— Вот, — сказал Гришка. — Молчит. Понятно.

Он развернулся и пошёл, и те двое за ним. Девушка оглянулась на ходу, и Глеб увидел в её лице брезгливое сожаление. Это было хуже злости.

Лиза стояла посреди мостовой и тяжело дышала.

— Пойдём, — сказал Глеб.

— Почему ты ему ничего не сказал?

— А что я должен был сказать?

— Что он дурак! Что ты не продался! — Она посмотрела на него, и у неё вдруг задрожали губы. — Ты же не продался, Глеб? Правда?

Он присел перед ней на корточки, прямо на мостовой, и взял её за плечи.

— Я пожму ей руку, — сказал он. — Чтобы ты никогда не стояла на этом помосте. Чтобы тебе не ставили ни чёрную, ни красную. Чтобы мама больше не ходила на Сукновальню. Если это называется продался, значит, я продался. Понятно?

Лиза смотрела на него, и в глазах у неё стояли слёзы, и она их не пускала.

— Понятно, — сказала она.

* * *

Шмель жил на Песках, в бараке у старого лодочного затона, в комнате, где пахло лекарствами и мокрой штукатуркой. Глеб зашёл к нему вечером, после ужина, оставив Лизу дома с матерью.

Шмелёва-старшая лежала на кровати за ситцевой занавеской и спала, тяжело, с присвистом. Её лицо, видное в щель между занавеской и стеной, было жёлтым, отёкшим, как у восковой куклы. Шмель сидел у стола и чистил картошку в миску с водой.

— Хуже, — сказал он, не поднимая головы. — Фельдшер был вчера. Говорит, месяц, может два. Если не будет лекарства.

— Какого?

— Да какая разница. — Шмель бросил картошку в воду. — У нас его нет. Оно на Верху есть, в аптеке на Соборной. Сорок рублей за курс. Сорок рублей, Глеб. Я на Сортировке за месяц восемь получаю. Это если работа есть.

— Я могу спросить у Марфы. У них же есть аптечка. Может, там...

— Аптечка, — повторил Шмель и засмеялся, без всякого веселья. — Аптечка. Ты думаешь, у Ростовых в аптечке лежит то, что маме нужно?

— Не знаю. Можно спросить.

— Спроси. — Шмель поднял глаза. Под ними были тёмные круги, и глаза были красные, как на Горе. — Спроси, Глеб. Пожалуйста.

Они помолчали. За занавеской Шмелёва-старшая застонала во сне, и Шмель вздрогнул, но она не проснулась.

— Ты к Туме ходил? — спросил Шмель.

— Нет.

— Она тебя ждёт.

— Я знаю.

— Сходи. — Шмель снова взялся за картошку. — Она мне сказала тебе передать, если увижу. Что ты знаешь, где баня. Что она до полуночи там.

— Я не собираюсь в это лезть.

— А я и не говорю, что лезть. Я говорю, сходи. Узнай хоть. Ты же любишь всё знать. — Шмель невесело усмехнулся. — Ты ж у нас тот, кто учил на Горе протоколы читать. Чтоб знать, за что метят.

* * *

Баня номер четыре стояла на самом краю Песков, у воды, на сваях, и в темноте была похожа на большую деревянную лодку, вытащенную на берег. Из трубы шёл дым. Окна запотели изнутри, и сквозь них ничего не было видно, только жёлтый свет.

Глеб постоял у крыльца. Потом поднялся и толкнул дверь.

В предбаннике было тепло и пахло берёзовым листом, дёгтем и мокрым деревом. На лавках вдоль стен сидело человек десять, мужчины и женщины, все одетые, никто не пришёл мыться: кто-то курил, кто-то пил чай из жестяных кружек. Когда он вошёл, разговор прекратился. Все повернулись к нему. Он узнал некоторых. Хозяйку пирожковой с Кирпичной. Кочегара с Сортировки. Двух учителей из Лицея, которых уволили в прошлом году. И ещё одного, в углу, высокого, тощего парня с лицом, изрытым оспинами, и длинными сальными волосами. Этого Глеб не знал. Парень смотрел на него, не мигая, и в его взгляде было что-то, от чего Глеб невольно напрягся.

— Пришёл, — сказала Тума.

Она стояла в дверях парилки, в длинном фартуке поверх платья, с закатанными рукавами, распаренная, красная, с полотенцем на шее. На её левом запястье, мокром от пара, отчётливо выступали черты. Сорок одна. Шесть красных.

— Пришёл, — сказал Глеб. — Ненадолго.

— Надолго и не надо. — Тума кивнула остальным. — Посидите. Хорь, ты тоже.

Тощий парень в углу ничего не ответил, но остался сидеть. Тума провела Глеба через парилку, жаркую, тёмную, пахнущую раскалённым камнем, в маленькую комнату за ней, где стоял стол, два стула и самовар. Закрыла дверь.

— Садись.

Он сел.

— Ты хочешь знать про страницу, — сказала Тума.

— Ты сказала, там было моё имя.

— Было. — Тума села напротив, налила ему чаю из самовара, придвинула кружку. — Я тебе скажу, что Нина запомнила. Она не всё запомнила, она несла её полчаса и боялась, что её остановят, и прочитала только то, что было наверху. Страница была поделена на две части. Сверху таблица. Четыре колонки. В первой дата. Во второй фамилия, с инициалами. В третьей стрелка и другая фамилия. В четвёртой ещё одна стрелка и ещё одна фамилия. Понимаешь?

— Нет.

— Подумай.

Глеб подумал. В голове медленно, очень медленно, как вагон на сортировочной горке, проворачивалось что-то тяжёлое.

— Кто сделал, — сказал он. — На кого записали. Кто понёс.

— Вот. — Тума кивнула. — Нина запомнила одну строчку. Она запомнила её, потому что там была моя фамилия. Двадцать третий год Согласия, март. Летов Б. В. Стрелка. Летова А. В. Стрелка. Ганнова Т. Р. — Тума помолчала. — Летов Борис, банкир. Летова Алла, его сестра, моя подопечная. Ей тогда было семнадцать. Мне семнадцать. В марте двадцать третьего года мне поставили красную за мошенничество со счетами в Республиканском банке. На сто тысяч рублей. Моя подопечная в это время сидела дома на Верху и вышивала. Она бы не отличила вексель от салфетки. А её брат, Борис Летов, банкир, двадцать восемь лет, через год стал членом Совета.

— Ты знала?

— Я подозревала. Семнадцать лет. — Тума взяла свою кружку обеими руками. — Все мы подозреваем, Глеб. Каждый, кто носит на руке что-нибудь, чего его подопечный не мог сделать. Но подозревать мало. Надо видеть.

— А моё имя? — спросил Глеб. — В какой строчке?

Тума покачала головой.

— Не в строчке. Под таблицей был список. Без стрелок. Просто фамилии, в столбик, и рядом с каждой буква. Нина успела прочитать только начало, его было видно в рукаве, когда она его сложила. Там было так: *Перечень поручителей, допустимых к правкам. Категория А: пригодны для тяжких*. И фамилии. — Тума посмотрела ему в глаза. — Твоя была третья.

Глеб сидел очень тихо. В парилке за стеной шипел пар на камнях. Кто-то в предбаннике засмеялся и тут же замолчал.

— Пригоден для тяжких, — повторил он.

— Да.

— Почему?

— Не знаю. Я могу догадаться. — Тума поставила кружку. — Знаешь, что про тебя говорят на Площади? Про таких, как ты? Надёжный. Не жалуется. Не дерётся. Не бегает. Восемь лет, двадцать три черты, ни одного взыскания своего. Говорит на Оглашениях «как своё» громко и чётко. Таких любят. Таких берут в Признанные. И на таких, видимо, удобно вешать то, что тяжелее всего. Потому что они понесут.

Глеб смотрел на свои руки на столе. На левый рукав.

Восемь лет он гордился этим. Он никогда никому этого не говорил, даже Севе, даже себе толком, но гордился. Он нёс. Другие ломались, бегали, дрались с конвоем, их ловили, им добавляли. Он нёс. Это была единственная вещь в его жизни, которую он выбирал сам, когда ничего другого не выбирал: как нести. Ровно. Не сгибаясь. Как своё.

И оказалось, что именно поэтому.

— Это ничего не доказывает, — сказал он. — Это Нина запомнила. Полчаса в рукаве. Она могла перепутать.

— Могла, — согласилась Тума.

— Это мог быть другой Ярцев.

— Мог.

— Страницы нет. Её никто не видел, кроме Нины.

— Никто, — сказала Тума. — Страница была у Севы в ботинке. Когда его вытащили из воды, ботинок был на нём. Нина сама его снимала, в морге при больнице на Затоне. Страницы не было. Стелька была, а под стелькой ничего. Кто-то её вынул раньше, чем Нину пустили к сыну. Кто-то, кто знал, что искать.

Глеб поднял голову.

— Его не нашли сразу, — сказала Тума. — Его нашли утром, на отмели, ниже по течению. Нашли его не наши, не с Затона. Его нашли люди из Службы Порядка. В шесть утра. Мы до сих пор не знаем, что они там делали в шесть утра на отмели под старым разводным мостом. Что они искали.

Она замолчала. Он тоже молчал.

— Я тебя не прошу ничего делать, — сказала Тума наконец. — Я тебе это говорила на насыпи и сейчас говорю. Я тебе рассказала, что знаю. Дальше решай сам. Книга есть. Она где-то в подвале Биржи. Нина моет там коридоры, по ночам, но в комнаты её не пускают, только в те, куда дают ключ, и ключ каждый раз другой. Мы не знаем, какая дверь. Мы не знаем, как она выглядит. Мы знаем только, что она есть и что от неё, может быть, зависит, сколько ещё Даш Ковригиных сегодня будут сидеть на табуретке у Ефима Лукича.

— Ты видела сегодня?

— Я каждую субботу вижу. — Тума встала. — Иди, Глеб. Тебе к восьми на Мост. Не опаздывай. Зотов твой рапорты пишет быстро.

Он встал тоже. У двери обернулся.

— Тот, в углу, — сказал он. — Тощий. Кто это?

— Хорь, — сказала Тума. — Он с Сортировки. У него сестра умерла на Дворе, в позапрошлом году. От воспаления лёгких. Ей было четырнадцать. — Она помолчала. — Он хочет по-другому, Глеб. Не книгу. По-другому. Я пока держу. Не знаю, сколько ещё удержу.

— По-другому это как?

Тума не ответила. Она открыла дверь в парилку, и оттуда пахнуло жаром, и он вышел.

* * *

В воскресенье вечером, без десяти восемь, он прошёл верхний КПП. Дежурный проверил рукав, проверил пропуск, отметил время. Зотов ждал у машины.

— Без десяти, — сказал Зотов, глядя на часы. — Повезло тебе.

— Я не опаздываю.

— Пока, — сказал Зотов.

В гладильной горел свет. Глеб открыл дверь и остановился.

Комнату обыскали. Это было сделано аккуратно, почти незаметно, но он знал, как лежали его вещи. Он знал, как лежит всё: на Горе быстро учишься. Книги на полке стояли в другом порядке. «Мостовые конструкции» были раньше крайней слева, а теперь стояли посередине. Одеяло на кровати было сложено ровнее, чем он его сложил. Вещмешок на гвозде висел другой стороной.

Он ничего не прятал. Прятать было нечего. Но он постоял посреди комнаты, глядя на книги, и чувствовал, как у него медленно холодеет внутри.

Потом он увидел на подоконнике чашку.

Её там не было, когда он уходил. Фаянсовая кружка с отбитой ручкой, та самая. В ней был чай, уже холодный, с плавающей чаинкой. Под кружкой лежал сложенный листок бумаги.

Он развернул.

Почерк был неровный, торопливый, с наклоном влево. *Я знаю, ты сказал ничего не делать. Это не я делаю. Это просто чай. Он сам. М.*

И ниже, мельче, приписка: *Сержант был у тебя в комнате. Я видела в окно. Я ему ничего не сказала. Мне жаль.*

Глеб долго стоял с листком в руке.

Потом сел на кровать, поставил кружку на колено и выпил холодный чай до дна, вместе с чаинкой.

Глава 6. Низовка

— Последняя тёплая, — сказала Соня. — Последняя, Мир! Потом всё, октябрь, холодина, и до мая ничего. Поехали. Ну поехали. Ты год никуда не ездила.

Был вторник, большая перемена, и они снова сидели на подоконнике в рекреации второго этажа. Внизу во дворе облетали липы, и садовник в сером фартуке сгребал листья в кучи, а мальчики из выпускного класса пинали эти кучи, и садовник молча сгребал снова.

— Нет, — сказала Мира.

— Артём будет. Вадик Сабуров будет, у него новая машина, открытая. Девочки из «Б» будут. Будем на пристани, там костёр, там музыка. Помнишь, как в прошлом...

Соня осеклась.

— Помню, — сказала Мира.

Соня покраснела. Это было с ней редко. Она отвернулась к окну и стала теребить нитку жемчуга на запястье.

— Я не то хотела, — сказала она. — Прости.

— Ничего.

— Нет, правда. Я дура. — Соня помолчала. — Мир. Можно я спрошу?

— Спроси.

— Ты правда ничего не помнишь? Про ту ночь?

Мира посмотрела на неё. Соня сидела, опустив глаза, и крутила жемчужину, и щёки у неё всё ещё горели.

— Ничего, — сказала Мира. — После Моста почти ничего. А ты?

Соня молчала так долго, что Мира подумала, что она не ответит. Потом Соня соскочила с подоконника и одёрнула юбку.

— Я тоже, — сказала она быстро. — Я тоже спала. Я ж тогда напилась хуже тебя. Помнишь, меня на Мосту стошнило? Звонок сейчас будет. Пойдём.

Она пошла к лестнице, не дожидаясь. Мира сидела на подоконнике и смотрела ей вслед.

Соня врала. Мира знала её с шести лет и знала, как она врёт: быстро, весело, глядя мимо и сразу уходя. Так она врала учителям, когда не делала уроки. Так она врала маме, когда возвращалась под утро. Так она соврала сейчас.

* * *

В пятницу вечером Мира сидела у себя в комнате и слушала, как на улице отъезжают машины.

Их было слышно хорошо: Нагорная шла вниз, к Мосту, и по пятницам после девяти по ней одна за другой скатывались открытые машины с хохотом и музыкой, и фары мелькали в ветвях лип, как светляки. Мира сидела на подоконнике с ногами и считала. Пять. Шесть. Семь. Восьмая была Артёмова, чёрный «Гранд», она узнала его по звуку мотора, низкому, урчащему. Не тот, что тогда. Тот увезли. Отец Артёма купил ему новый, такой же.

Каждая машина, которая сегодня переедет Мост после десяти, будет стоить черту. Не одну. По черте на каждого подопечного в машине. Мира попыталась посчитать, сколько их сегодня будет, и сбилась. Двадцать? Тридцать? Тридцать черт в субботу на Площадях Затона, Песков, Кирпичной. Тридцать человек закатают рукава.

Она знала это и раньше. Конечно, знала. Она ездила четыре раза. Четыре черты подряд, свежие, тёмные, совсем близко друг к другу.

Она слезла с подоконника, достала из ящика стола чёрную тетрадь и открыла её на первой странице. *ЧТО СТОИЛО*. Двадцать три строчки. Справа пустое место. Она пока заполнила только две: против оранжереи было написано *два пальца, бетон, 3 мес.*, против последней *год, Белая Гора, известь*. Остальное было пустым.

Она закрыла тетрадь. Потом снова открыла. Посмотрела на последнюю строчку.

Наезд. Сева Кравец, 16 лет. Затон, Песчаная улица.

Песчаная улица. Она знала номер дома. Она год писала его на конвертах.

* * *

В субботу в два часа дня Мира Ростова перешла Мост Согласия пешком.

Она никогда раньше этого не делала. Верхние ходили через Мост только на машинах, и то только ночью, на Низовки. Днём им там было нечего делать. Она надела мамино старое пальто, серое, из тех, что мама давно не носила, а Марфа хотела отдать на Затон, и старые ботинки, и повязала на голову платок. В зеркале в прихожей она выглядела как кто-то из прислуги. Почти. Если не присматриваться к лицу.

На нижнем КПП дежурный, пожилой, с вислыми усами, посмотрел на её паспорт, на неё, на паспорт снова.

— Ростова? — сказал он.

— Да.

— Мирослава Константиновна?

— Да.

Дежурный оглянулся на напарника. Потом снова на неё.

— Вы куда, барышня?

— В Затон.

— Зачем?

— Это запрещено?

— Нет. — Дежурный потёр усы. — До десяти нет. После десяти, сами знаете. — Он помедлил. — Вас кто-нибудь встречает?

— Нет.

— Может, машину? Я могу позвонить...

— Не надо, — сказала Мира. — Спасибо.

Он отдал ей паспорт и поднял шлагбаум, и она прошла, чувствуя спиной его взгляд, и только на середине Моста, у помоста под экраном, где рабочие красили перила, поняла, что держит паспорт в руке так крепко, что у неё побелели пальцы.

* * *

Низ начинался сразу, без перехода.

На Верху от Моста шла вверх широкая улица, мощённая камнем, с липами и фонарями. Здесь от Моста шла вниз дорога, разбитая, в ямах с водой, и по обеим её сторонам стояли склады, длинные, кирпичные, без окон, с ржавыми воротами. Пахло рекой, мазутом и чем-то кислым, капустой, кажется. Через сто шагов склады кончились и начались дома. Двухэтажные, деревянные, почерневшие от времени, и трёхэтажные кирпичные, с облупленной штукатуркой, с бельём на верёвках между окнами. Во дворах играли дети. На скамейках сидели старухи. Всё было серым, серым и бурым, и единственным ярким пятном на всей улице был плакат на стене углового дома: Пётр Андреевич Белецкий в рабочей кепке, улыбающийся, с поднятой рукой, и подпись: *СОРОК ЛЕТ ВМЕСТЕ. СОРОК ЛЕТ МИРА*.

Под плакатом, ниже, на штукатурке, кто-то нарисовал углём руку. Простая детская рука, запястье, на запястье пять коротких чёрточек, и вокруг них круг. Под рукой было написано, кривыми буквами: *КАЖДЫЙ НЕСЁТ СВОЁ.*

Мира остановилась и долго смотрела на эту руку. Потом достала из кармана пальто фотоаппарат.

Она не собиралась снимать. Она взяла бабушкину «Зоркую» по привычке, потому что всегда её брала, как берут ключи. Но сейчас она подняла его к лицу и навела на стену, и в видоискателе плакат с Белецким и угольная рука под ним уместились в один кадр, улыбка над кругом, и она нажала на спуск.

— Эй, — сказали сзади. — Ты чего снимаешь?

Она обернулась. На скамейке у подъезда сидела старуха в ватнике и смотрела на неё маленькими острыми глазами.

— Стену, — сказала Мира.

— Зачем?

— Просто.

Старуха посмотрела на фотоаппарат, на её пальто, на её ботинки, на её лицо. Особенно на лицо.

— Ты не наша, — сказала она. Старуха не спрашивала.

— Нет.

— Верхняя.

— Да.

Старуха пожевала губами.

— Иди отсюда, девка, — сказала она, без злости, почти устало. — Иди, пока светло. Тут на твою стену и без тебя насмотрятся.

* * *

Песчаную улицу она нашла через час. Она шла по указателям, потом спрашивала дорогу, и ей отвечали коротко, не глядя, и она чувствовала, как на неё оборачиваются. Она натянула рукава на пальцы. Она шла, опустив голову, и всё равно оборачивались.

Дом Кравцов был деревянный, одноэтажный, на два хозяина, с палисадником, в котором росли мальвы, уже отцветшие, сухие. На калитке висела жестяная табличка с номером, тем самым, который она год писала на конвертах. Окна были закрыты ставнями.

Она постояла у калитки. Постучала. Никто не открыл.

— Нинку ищешь? — спросила женщина из соседней половины дома. Она развешивала бельё во дворе, и у неё во рту были прищепки. — На смене она. В городе. До ночи.

— В городе?

— На Верху. Она полы моет, в Бирже этой вашей. — Женщина вынула прищепку изо рта и посмотрела на Миру внимательнее. — А ты кто ей будешь?

Мира не знала, что ответить.

— Знакомая, — сказала она.

— Знакомая, — повторила женщина. — Ну-ну. Подожди, если хочешь. Вон лавка. Она часов в девять придёт, может, в половине.

В девять. Мира посмотрела на часы. Было без двадцати четыре. До комендантского часа шесть часов. Если она дождётся Нину Кравец в девять, у неё будет час, чтобы дойти до Моста. Она шла сюда от Моста час.

Она села на лавку.

Она не знала, что скажет. Она думала об этом всю неделю и не придумала ни одного слова. *Здравствуйте, меня зовут Мирослава Ростова, это я убила вашего сына. Это я посы-*

*лаю вам конверты. Простите меня.*Она проговаривала это про себя, и каждый раз фраза рассыпалась на середине, как рассыпается песок, если сжать его в кулаке.

Вы его не знали, сказал Глеб. *Вы не знаете, как он смеялся. Это не ваше.*

Она сидела на лавке, и солнце опускалось за крыши, и по улице проходили люди. Шли с работы, с рынка, с Сортировки. Женщины с сумками, мужчины в промасленных куртках. Дети бежали домой. Пахло дымом из труб и жареной рыбой. У всех на левых руках были рукава, и у некоторых рукава были закатаны, и Мира видела черты. У одного мужчины, старого, с костылём, их было так много, что они заходили за локоть. У девочки лет двенадцати, с бидоном молока, была одна, свежая, чёрная. Девочка шла, размахивая бидоном, и напевала что-то, и, проходя мимо Миры, посмотрела на неё равнодушно и пошла дальше.

В половине девятого на улице зажглись фонари. Через один.

В девять Нины Кравец не было.

В девять пятнадцать по улице прошла женщина. Высокая, сутулая, в тёмном платке и рабочем халате под пальто, с хозяйственной сумкой. Она шла медленно, тяжело, как ходят очень уставшие люди, глядя под ноги. Мира поднялась с лавки.

Женщина подошла к калитке, открыла её, вошла во двор и остановилась на крыльце, роясь в сумке в поисках ключа. Свет из окна соседей падал ей на лицо. Лицо было худое, с впалыми щеками, с глубокими морщинами у рта. Волосы под платком совсем седые, хотя ей не могло быть больше сорока пяти.

Мира стояла в трёх шагах от калитки.

Женщина нашла ключ. Открыла дверь. Остановилась на пороге. Обернулась.

Она смотрела прямо на Миру. Мира видела её глаза, тёмные, запавшие, неподвижные. Женщина ничего не сказала. Она просто смотрела, долго, может быть, десять секунд, может быть, больше, и Мира не могла понять, что в этом взгляде. Узнала ли она её. Поняла ли. Просто ли смотрит на чужую девушку у своей калитки, потому что чужие девушки у её калитки не стоят.

Мира открыла рот.

Ничего не вышло.

Женщина вошла в дом и закрыла за собой дверь. Через секунду в окне за ставнями зажёгся свет.

Мира стояла у калитки. Потом повернулась и пошла прочь, быстро, почти бегом. Только на углу, где Песчаная выходила на какую-то большую улицу, она остановилась, прислонилась к стене и закрыла лицо руками.

Она не могла. Она сидела здесь пять часов и не смогла сказать ей ни слова.

Потом она посмотрела на часы.

Двадцать один час тридцать одна минута.

* * *

Она побежала.

Она не знала дороги. Она шла сюда при свете, по указателям, а теперь было темно, и фонари горели через один, и указатели были не видны, и все улицы были похожи друг на друга. Она бежала туда, где, как ей казалось, была река, и выбежала к железнодорожной насыпи, и пошла вдоль неё, и насыпь не кончалась. Где-то впереди, над крышами, светился Мост, она видела его огни, но не могла понять, как к нему выйти.

Двадцать один сорок.

Если она не успеет, это будет черта. Нарушение комендантского часа. Чёрная. Двадцать четвёртая. Она бежала и думала об этом. О том, как он в следующую субботу поднимется на зелёный помост. Как закатает рукав. Как Ефим Лукич, которого она никогда не видела, но о

котором ей рассказывала Марфа, возьмёт его за руку. Из-за того, что она сидела пять часов на лавке и не смогла сказать ни слова.

Она свернула в проулок, думая срезать, и проулок кончился тупиком.

У стены в тупике стояли трое. Она увидела огонёк папиросы, потом лица. Парни. Лет по восемнадцать-двадцать. Один сидел на ящике, двое стояли.

— О, — сказал тот, что сидел. — Гляди-ка.

Мира попятилась.

— Простите. Я заблудилась. Мне к Мосту.

— К Мосту ей, — повторил второй. Он отлепился от стены и сделал шаг к ней. Высокий, широкоплечий, в кепке. — Слышь, Гриш. К Мосту ей.

— Слышу, — сказал тот, что на ящике. Он не встал. — Пальто у тебя хорошее. Верхнее пальто. И ботинки. И говоришь ты, как по радио.

— Пожалуйста. Мне нужно успеть до десяти.

— А то что? — Высокий сделал ещё шаг. Он не был злым, она это видела. Ему было интересно. Как бывает интересно, когда в твой двор забредает чужая собака. — А то что будет, а? Тебе ничего не будет. Тебе никогда ничего не будет. Кому-то будет. Ну и пусть будет. Нам-то что?

— Покажи руку, — сказал тот, что на ящике.

Мира молчала.

— Руку покажи. Левую. — Он затянулся. — Ну? Мы ж ничего. Мы просто посмотреть. Мы чистеньких близко не видели.

Высокий протянул руку, взял её за рукав и потянул. Не грубо. Просто потянул, как тянут, чтобы посмотреть, что под тканью. Мира рванулась. Рукав выскользнул, высокий не удержал, и её манжета задралась, и в свете из чьего-то окна на секунду мелькнуло её запястье. Белое. Пустое.

— Ох ты, — сказал высокий. — Чистенькая.

— Отпустите.

— Да я тебя и не держу.

Тот, что на ящике, встал. Подошёл ближе. Теперь она видела его лицо. Худое, скуластое, с белесыми бровями. Он посмотрел на её запястье, которое она уже закрыла, потом ей в глаза.

— Ты знаешь, сколько у меня? — спросил он тихо. — Одна. Одна черта. Мой подопечный уехал учиться за границу, когда мне было четырнадцать. И всё. Поручительство кончилось. Меня из Лицея выгнали, потому что я больше не поручитель, а паёк мамкин срезали. А черта осталась. Знаешь, за что?

Мира покачала головой.

— За то, что он моей сестре, — сказал парень, — на Низовке руку сломал. Толкнул её с пристани. Ей девять было. Она на пристани стояла, смотрела на костёр. А он её столкнул, смеху ради. Она на камни упала. Сломала руку. А черту поставили мне. За «причинение вреда здоровью средней тяжести». Мне. Брату. Понимаешь?

Мира смотрела на него. Она хотела что-то сказать. Что угодно. Она не могла.

— Вот и я не понимаю, — сказал Гришка Сомов. — Двадцать лет живу и не понимаю.

— Гриш, — сказал кто-то за спиной Миры.

Все обернулись.

В начале проулка стоял Глеб.

Он был в той же куртке, что на Верху, с поднятым воротником, и руки держал в карманах. Он не подходил. Просто стоял, и свет фонаря падал на него сзади, и его лица не было видно, только силуэт.

— Ярцев, — сказал Гришка. — Ты-то здесь откуда?

— От Шмеля иду. — Глеб помолчал. — Гриш, отпусти её.

— Да кто ж её держит.

— Тогда пусть идёт.

— А если не пусть?

Глеб вынул руки из карманов. Он не стал подходить ближе. Он просто стоял и смотрел.

— Если не пусть, — сказал он спокойно, — то через двадцать минут будет десять. И в следующую субботу я поднимусь на помост и получу черту. За неё. Ты придёшь посмотреть, Гриш? Тебе будет весело?

Гришка Сомов молчал. Высокий в кепке оглянулся на него, ожидая.

— Ты ж для неё старался, — сказал Гришка наконец. — Год на Горе. И ещё стараешься. Ну-ну.

— Я не для неё.

— А для кого?

— Для себя, — сказал Глеб. — Это моя рука, Гриш. Не её.

Долгая пауза. Где-то далеко, за крышами, прогудел паровоз на Сортировке.

Гришка отступил в сторону.

— Иди, — сказал он Мире, не глядя на неё. — Иди, чистенькая. Беги.

* * *

Они бежали.

Глеб бежал впереди, а она за ним, и он не оборачивался, только иногда говорил через плечо: «Здесь яма» или «Налево». Он знал каждый поворот. Они пробежали через какой-то двор, где на верёвках висело бельё и Мира врезалась лицом в мокрую простыню. Через пустырь. Мимо закрытой бани, от которой пахло дымом. По деревянному мостку через канаву. Мира задыхалась. Пальто было тяжёлое, ботинки натирали. Она подумала, что сейчас упадёт, и не упала.

— Сколько? — крикнул он на бегу.

Она посмотрела на часы.

— Без двенадцати.

— Успеем.

Они выбежали на набережную, и Мост был прямо перед ними, огромный, освещённый, весь в огнях, и экран на середине горел белым: *ДО ЮБИЛЕЯ 59 ДНЕЙ*.

Нижний КПП. Дежурный с вислыми усами. Он увидел их и выпрямился.

Глеб остановился у самого шлагбаума. Мира остановилась рядом, держась за бок, хватая ртом воздух.

— Без шести, — сказал дежурный, посмотрев на часы. — Барышня. Вы... успели.

Мира протянула ему паспорт. Рука у неё дрожала. Дежурный поставил отметку и поднял шлагбаум.

— Дальше по Мосту, — сказал Глеб. — Верхний КПП отмечает только вход. Главное, что вы вышли отсюда до десяти.

— А ты?

— А я дома. — Он кивнул назад, на Затон. — У меня до восьми вечера завтра.

Мира стояла по ту сторону шлагбаума. Он по эту. Между ними была полосатая палка, крашенная в красное и белое.

— Почему ты пришёл? — спросила она.

— Я шёл от Шмеля. Услышал голоса.

— Ты знал, что это я?

— Догадался. — Он чуть усмехнулся. — В Затоне никто не говорит «простите, я заблудилась».

— Почему ты пришёл? — повторила она.

Он помолчал.

— Потому что если бы вы опоздали, это была бы моя.

— Только поэтому?

— Только.

Она смотрела на него. Он смотрел на неё. В свете прожектора с будки его лицо было бледным, резким, и на скуле она увидела маленький шрам, которого раньше не замечала.

— Ты сказал «ты», — сказала Мира.

— Что?

— Когда бежали. Ты мне сказал «сколько». Ты сказал: «Успеем». Это «мы». И потом ещё, во дворе, ты сказал: «Осторожно, у тебя под ногами». Ты сказал «у тебя».

Он отвёл глаза.

— Оговорился.

— Ты не оговариваешься, — сказала Мира. — Я за тобой неделю наблюдаю. Ты никогда не оговариваешься.

Он не ответил. Дежурный в будке кашлянул, громко, со значением. Мира не обернулась.

— Я ходила к ней, — сказала она. — К маме Севы. Я пять часов сидела на лавке у её дома. Она пришла, и посмотрела на меня, и я ничего не смогла сказать. Ни слова. Я трусиха.

— Не ходите к ней больше, — сказал Глеб.

— Почему?

— Потому что она вас не простит. А вам нужно, чтобы простила. — Он сказал это тихо, без злости. — Это нечестно по отношению к ней. Вы придёте к ней со своим горем и попросите, чтобы она его взяла. Как будто ей своего мало.

Мира стояла по ту сторону шлагбаума, и ветер с реки трепал её платок, и она чувствовала, как у неё горят щёки.

— Ты прав, — сказала она.

— Я знаю.

— Ты всегда прав, да?

— Нет, — сказал он. — Почти никогда. Идите. Вас ждут.

— Кто?

Он кивнул ей за спину. Мира обернулась. На середине Моста, у помоста под экраном, стояла машина с выключенными фарами. Чёрная, с верхними номерами. Рядом с машиной, засунув руки в карманы шинели, стоял человек. Даже отсюда, даже в темноте, она узнала его по короткой шее и по тому, как он стоял, расставив ноги, будто вбитый в настил.

Зотов.

— Он за вами от Песков ехал, — сказал Глеб. — Я видел машину. Он всё время был где-то рядом. Он и сейчас бы успел, если бы... — Он не договорил. — Идите. Он вас отвезёт.

— Он видел нас?

— Конечно.

— Он напишет рапорт?

— На меня, — сказал Глеб. — На вас нельзя.

Мира посмотрела на Зотова. Потом на Глеба.

— Я ему не позволю.

— Мира, — сказал Глеб. В первый раз за весь вечер он назвал её по имени. — Вы ничего ему не позволите и ничего не запретите. Вы ничего не можете. Вы же сами говорили. Всё, что вы сделаете, вы сделаете моей рукой. Просто идите.

Она пошла.

Она шла по Мосту, по пешеходной дорожке, вдоль серо-зелёных ферм, и не оборачивалась, и только у самого помоста, у машины, где Зотов молча открыл перед ней заднюю дверь, она оглянулась.

Он всё ещё стоял у нижнего шлагбаума. Маленький, тёмный, на фоне огней Затона. Стоял и смотрел ей вслед.

Потом повернулся и ушёл в темноту.

* * *

Дома она поднялась к себе, не раздеваясь, достала чёрную тетрадь и при свете ночника заполнила ещё одну строчку. Против четырёх Низовок, справа, мелко, как будто боялась, что кто-то прочитает:

Мог быть пятой. Не стал. Потому что он пришёл.

Потом подумала, зачеркнула *потому что он пришёл* и написала сверху: *Потому что сказал, что это его рука*.

Потом зачеркнула и это. И долго сидела, глядя на зачёркнутое, пока не погас ночник.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.